

ВЯЧЕСЛАВ СОФРОНОВ

ОДИБИРИАДА

Кучум



Сибириада. Собрание сочинений

Вячеслав Софронов

Кучум

«ВЕЧЕ»

1993–1996

Софронов В. Ю.

Кучум / В. Ю. Софронов — «ВЕЧЕ», 1993–1996 — (Сибириада. Собрание сочинений)

ISBN 978-5-4484-7081-3

В последней книге исторической трилогии «Кучум» известного сибирского писателя Вячеслава Софронова дается своя, до сих пор не встречавшаяся трактовка происходивших четыре века назад событий. Русское государство во второй половине XVI века вело трудную, кровопролитную войну на западе. Иван IV Грозный призвал на помощь казачью вольницу, что противостояла на южных рубежах крымскому и ногайскому ханам. Среди казачьих атаманов, отправившихся в Ливонию, был Ермак Аленин, в будущем – легендарный покоритель Сибири. А в это же самое время в Бухаре готовился к войне с человеком, убившим его отца, молодой князь Сейдяк. Да и господа Строгановы, стремительно осваивающие уральскую землю, доставляли немало неприятностей повелителю Сибири...

ISBN 978-5-4484-7081-3

© Софронов В. Ю., 1993–1996

© ВЕЧЕ, 1993–1996

Содержание

Часть первая. Половодье	6
Ташкын[1]	8
Блаженство горестных	16
Блаженство власти	26
Блаженство наследующих	36
Блаженство юности	42
Блаженство жаждущих	47
Блаженство алчущих	52
Блаженство ищущих	57
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Вячеслав Юрьевич Софронов

Кучум

© Софронов В.Ю., 2018

© ООО «Издательство „Вече“», 2018

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2018

Сестре моей Елене и брату Игорю посвящается

Часть первая. Половодье

*Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Евангелие от Матфея, гл. 5, 8.*

И создал Бог землю...

Унылой и неказистой выглядела она. Голая и нагая, вся серого цвета. Кинул Бог горсть зерен – и взошли травы. Кинул другую – выросли леса. Только тихо в лесах, песен, гомона не слышно. Взял Бог кусок глины и вылепил из него зверушек, птишек разных, пустил их на землю. Побежали они, полетели, кинулись в разные стороны. Сплошная суета и никакого порядка.

Вырвал Бог из бороды клоч и слюной скрепил, вылепил Медведя, поставил его главным над всеми, чтоб за порядком следил, вершил суд-расправу и лишь перед Богом ответ держал. Ходит Медведь по лесу, рыкает. Пташки-зверушки как его голос услышат, так и присмирят враз, тихо становится, никто друг другу не обижает, всяк в своем углу живет.

Смотрит Бог на землю и не нарадуется – до того все хорошо и спокойно на ней – мир да благодать. Умаялся он от работы и заснул, притомившись. А за ним и солнышко на бочок прилегло, за край неба спряталось, не светит, не греет. Студено на земле стало, снег полетел, вьюга запуржила, песню угрюмую завела, запела. И Медведь загрустил, нашел глубокую берлогу, вход камнем завалил, лег на бок да и уснул до весны, когда тепло обратно на землю придет, возвратится.

Видит Волк серый, что нет никакого надзора за зверьем, начал свои порядки наводить, с каждой зверушки дань требует, велел себя царем лесным звать-величать, издалика кланяться. А кто не по нраву, разговор короткий – хват зубами за горло, и полетела шерсть клочьями, побежала кровь на землю, одна шкура на снегу лежит, да косточки под деревьями блестя, белеют.

Вылез весной Медведь из берлоги, начал подданным своим счет вести и половины досчитаться не может. Куда подевались, сгнули? Лисица рыжая шепнула ему на ухо, мол, Волк серый свой порядок завел, задрал зверей и велел себя царем лесным звать-величать.

Взревел Медведь от известия такого, обратился к Богу:

– Помоги, Боже, наказать Волка серого, что ввел в разор подданных моих, покарай его за злодеяния.

А Бог и отвечает ему:

– Куда же ты глядел, когда Волк серый бесчинствовал? Для чего я тебя на землю отправил? Найди Волка серого и накажи его властью своей, чтоб больше не губил зверье малое.

Отправился Медведь в лес дремучий Волка серого искать, к присяге того привести, наказать примерно. Только тот узнал обо всем от Сороки-стрекотуньи, что разговор Бога с Медведем слышала, обратился в камень-валун, лежит на опушке лесной, не шевельнется.

Ходил Медведь по лесу, искал три дня и три ночи Волка серого, а найти никак не может. Притомился, едва обратно бредет, тащится. Как стал мимо камня проходить, а Волк серый как хватит зубами его за зад и клоч волос вырвал. Взревел Медведь, обернулся, а никого нет.

Бог все сверху видел и говорит Медведю:

– Неужели ты не понял, что Волк серый в камень обратился да еще тебя и укусил исподтишка? Пойди, найди камень тот, утопи в реке.

Кинулся Медведь обратно, а Сорока-стрекотунья успела рассказать все Волку серому, и тот в лес убежал и там в шиповник колючий превратился, стоит меж березок белых, колючки выставя.

Ходит Медведь по лесу, Волка серого ищет. Шесть дней и шесть ночей ходил, а ничего не выходил, не нашел обидчика своего, зато о шиповник в кровь ободрался, половину шерсти на

колючках оставил. Вышел на полянку, задрал морду к небу, спрашивает Бога, как быть ему, где Волка серого сыскать. Велел Бог шиповник весь вытоптать, землей присыпать и ждать, когда Волк серый покается в злодеяниях своих.

Бежит Медведь к лесу обратно, а на том месте, где шиповник рос колючий, лишь ветки сухие лежат. Вытоптал их, зарыл в землю, упарился. А с ветки осиновой Змея гадюка спустилась тихонечко, ужалила Медведя в ухо и обратно уползла. То Волк серый в Змею обернулся, над лесным хозяином в который раз насмеялся. Тому обидно, зло берет, а как совладать с серым, не знает.

Смотрел Бог, смотрел, а потом собрал медвежью шерсть в клубок, намочил своей слюной и вылепил Человека, повелел ему помогать во всем Медведю, почитать за главного, Волка серого поймать и наказать примерно за непослушание.

Так и стали Человек с Медведем на земле жить один подле другого, с серым разбойником бороться, зверье малое от него защищать. Только и Волк не дремал, обернулся Сорокой-стрекотуньей, нашипал Человеку, будто Медведь готовится напасть на него, жизни лишит. Не стал Человек ждать напасти такой, соорудил ловушку, поставил на тропе. Попал в нее Медведь, взревел от горя-обиды. Поднапружился, разломал ловушку, выбрался на волю и ушел в дальний лес-урман, перестал с Человеком дружбу водить. А Волку серому того и надо, рад-радехонек.

Но прошел срок, понял Человек, что обманули его, насмеялись, решил помириться с Медведем, устроил пир-праздник, насобирал ягод разных, трав душистых, разложил на полянке, сидит, ждет, когда Медведь к нему из леса выйдет. Ждал день, ждал другой, да на третий и уснул, не выдержал. Тут Медведь на полянку и вышел, отведаль лакомство-угощение, все умял и обратно подался, не стал ждать, когда Человек проснется. А на другой день принес к его жилищу шишек кедровых, меда липового, у порога положил, а сам из кустов смотрит, как Человек обрадовался, когда дары лесные увидел.

С тех самых пор и живут Медведь с Человеком в мире, в согласии, если Волк серый меж ними распрю не затеет. И пока будут доверять они один другому, то и прочее зверье плодиться будет, в лесах жить, и Божия радость на земле не переведется, не исчезнет.

Ташкын¹

Земля и воздух были одинаково пропитаны влагой, словно брынза, только что вынутая из кислого молока.

Влагу источала каждая веточка, покрытая мельчайшим бисером дождевых капель; набухшее от воды небо пучилось заворотами серых туч, едва удерживающихся в чреве своем и готовых в любой момент обрушиться вниз многодневным дождевым потоком; наконец земля, вобравшая талую воду через овраги, ложбины, буераки, ямы и впадины, казалось, захлебнулась от неудержимого буйства весеннего разлива и не в состоянии уже больше поглощать льющуюся отовсюду, радостно журчащую, посверкивающую миллиардами разноцветных брызг извечную свою соперницу, лишь жалобно, тяжело вздыхала и чавкала, отзываясь на каждый шаг ступающего по ней человека.

Казалось, еще чуть – и вода одолеет, поглотит принявшую вызов к единоборству землю, восторжествует, возрадуется и станет полновластной правительницей мира, зовущегося земным. Но проходит день, два, неделя, выступают суглинистые проплешины, бугры, просыхают тропинки, сбрасывая, сгоняя с себя влагу, так и не захотев слиться с ней, сделаться одним целым, единым существом, и снова до следующей весны расходятся, разделяются, не уступив своих владений.

Блажен тот, кто поостерегся выйти в дорогу в те дни, когда две могучие соперницы, земля и вода, затеяв извечный спор, слились в жестоком объятии, забыв обо всем на свете. Горе человеку, попытавшемуся в пору половодья отправиться в дальний путь пешком или конным. Вот тогда он в полной мере ощутит, поймет малость и незащищенность свою. Весеннее половодье, происходящее ежегодно на Сибирской земле, не дает человеку забывать, кто он есть, умеряет дерзновенность замыслов, широту свершений, делая его столь же жалким и беспомощным, как всякая малая тварь на этом свете. И человек, кто бы он ни был, властелин народа или раб властелина, останавливался, глядя на безбрежную гладь всепоглощающего весеннего половодья.

Кучум, привстав на стременах, взирал на бесконечный простор водной глади, внешне столь мирный, спокойный и безмятежный, однако таящий в глубине смертельную погибель. Вода за одну ночь обошла их со всех сторон, отрезав путь к возвращению, затопив еще вчера вечером слабо угадываемую тропинку, по которой он со своими нукерами ехал четвертый день, чтоб усмирить взбунтовавшихся диких карагайцев.

Последняя зима была особенно беспокойной: отказались платить наложенную на них дань табердинцы, ушли в дальние степи тевризцы, не пустили к себе даругов, сборщиков дани, закрывшие ворота жители Саургачика, и, наконец, чашу его терпения переполнили вечно всем недовольные карагайцы. Их предводитель Кузге-бек, прозванный невидимкой, разрушил недавно построенную в их земле мечеть, обесчестил муллу, убил пятерых даругов, чьи головы кто-то из мятежников перебросил темной ночью через крепостную стену Кашлыка. Этого простить карагайцам Кучум не мог! И, едва дождавшись, когда чуть просохнут дороги и лесные тропы, сам повел нукеров усмирять бунтовщиков.

Конечно, он мог отправить башлыком и старшего сына Алея, и племянника Мухамед-Кулу, и любого из преданных ему князей. Каждый посчитал бы за честь выполнить волю сибирского хана. Он было в первый момент именно так и хотел поступить, призвав к себе Алея, но, взглянув на его расплывшееся в улыбке молодое безусое лицо, светящиеся радостью глаза, передумал. Нет, сын пока не готов, не осознал важность безжалостной расправы с бунтовщиками. Он мягок, сердце не зачерствело, не обострилась воля, нет той ярости, что сдерживает в груди каждый правитель, чтоб в нужный момент обрушить ее на головы провинившихся

¹ Ташкын – половодье.

отступников, не пожелавших подчиниться его воле. Нет, Алей не годился для подобного. Рано возлагать на юношу столь важную задачу, от которой зависит покой и порядок всего ханства.

Мухамед-Кул уже несколько лет жил в собственном улусе и редко наезжал в Кашлык. Он мог бы покарать мятежных карагайцев, придав огню их селения, повесить на деревьях каждого второго, взявшего в руки оружие, пригнать в Кашлык детей и женщин и сделать так, чтоб народа, зовущегося карагайцами, более не существовало, и через несколько лет никто бы и не вспомнил о них. Но для этого мало быть воином, и пусть он даже родной племянник хана Сибири, но сам Кучум никогда не забывал, чьим сыном тот был. Карача-бек несколько раз уже намекал, подпуская в голос таинственности, мол, косо поглядывает племянник на своего дядю, отпускает злые шутки, не является по первому зову. С чего бы это? Да все от того, что гордость и зависть говорят в почуявшем собственную силу Мухамед-Куле. Да, он бесстрашный воин, меткий стрелок, но Аллах наделил его знатностью происхождения, неумеренностью запросов и жаждой власти. И кто знает, как он поведет себя, встретившись вдали от ханских глаз и ушей с мятежным Кузге-беком. Не переметнется ли он на его сторону, не повернет ли сотни против законного правителя... Кто знает... Тут надо тысячу, десять тысяч раз подумать, взвесить и выбрать единственно правильный путь.

Единственно, кого бы мог отправить Кучум на усмирение карагайцев, не задумываясь ни на мгновение, это Карача-бек. Тот слишком умен и осторожен, чтоб принимать чью-то сторону. Он будет бить наверняка. А что карагайцы? Сегодня они с ним, а завтра пожелают видеть иного правителя. Тот народ, что усомнился в сегодняшнем господине, до конца дней останется таковым. Привыкший оступаться конь – ненадежный спутник в дальнем походе. Понимает это и Карача-бек и никогда не протянет руку мятежникам, не примкнет к ним. Но Кучум слишком дорожил своим визирем и, признаваясь лишь самому себе в том, не хотел рисковать им. Мало ли что могло случиться во время похода. У Карача-бека не было того воинского опыта, который накопил сам хан.

Да и самое главное – Кучуму опостылело день за днем просиживать на кожаных подушках возле заботливо раздуваемого рабом костра в укрытом толстыми шкурами шатре. Он всю зиму мечтал сесть в седло, огреть плетью молодого коня-пятилетку, заменившего любимца Тайку, промчаться по самой кромке высокого иртышского берега, слететь вниз к воде и по узкой полосе желтого глинистого песка нестись вперед, осыпаясь брызгами речной воды, вбирая в себя силу могучей реки. Он даже вздрагивал, явственно представляя себе радостный миг скачки, когда сидел, сосредоточенно глядя на огонь, долгими зимними вечерами.

И вот уже четыре дня он едет впереди своих нукеров, растянувшихся длинной цепью по лесной тропе. Кучум верил и не верил, что карагайцы, узнав, кто идет башлыком против них, разбегутся или вышлют старейшин просить о мире, о снисхождении. И верил и не верил. И он, и Кузге-бек, и жители мятежных улусов знали, какова будет расплата за послушание. Смерть каждого второго! Так и не иначе! Он их властелин и вправе распоряжаться жизнями своих подданных. Вправе карать и миловать. Еще вчера они вступили на земли карагайцев и проехали через два пустых, оставленных жителями селения. Даже бездомные псы попрятались в чащу леса, чуя издали приближение его воинства. Его никто не встречал, не падал на колени, не просил о мире. Значит, крови прольется вдвое больше, чем он думал. Сегодня, не позже чем в полдень, они должны достичь их главного селения, где, по донесениям лазутчиков, укрылся Кузге-бек со своими воинами. Но вода, весеннее половодье, неожиданно преградила им путь.

...Кучум, привстав на стременах, снова и снова взирал на бесконечный простор водной глади, искал и не находил решения. Неужели взбунтовались не только подлые карагайцы, но и природа встала на их сторону? Может, то речные и лесные боги, которым до сих пор поклоняется дикий сибирский народ, словно в насмешку затопили тропу, отрезав им путь? Если с людьми он может бороться, то как бороться, противостоять стихии? Тут он бессилен.

– Проверь, на много ли поднялась вода, – крикнул он сотнику Сабиру.

– Будет исполнено, – с готовностью откликнулся тот, будто только ждал его команды.

По взмаху руки Сабира от основного отряда отделились двое всадников и, понукая настороженно взмахивающих мордами коней, поехали вперед, древками копий щупая глубину поднявшейся воды. Но уже через полсотни шагов кони брели, погрузившись по самое брюхо, вскоре первый всадник замахал высоко поднятым копьём, показывая, что не может достать дна.

– Что хан прикажет делать? – подобострастно заглядывая в глаза, спросил Сабир. – Может, отправить еще нескольких человек рядом с тропой поискать проход?

– Отправляй, – кивнул Кучум, зло хмурясь. Он хорошо понимал свое бессилие, но гордость не позволяла повернуть обратно. Он не может вернуться в Кашлык, не проучив карагайцев, иначе... иначе на следующую зиму взбунтуются остальные племена – и останется лишь сидеть в Кашлыке, наглухо заперев ворота.

Еще два десятка всадников направились в разные стороны от тропы, ища проход. Конь воина, что ехал по направлению к небольшому березовому леску в двух сотнях шагов от тропы, попал передними ногами в яму, запнулся, и всадник полетел, не удержавшись в седле, головой вперед, но вскоре вынырнул, встал на ноги, выплевывая изо рта воду, поймал коня за повод.

– Не так и глубоко, – показал рукой в его сторону Сабир. Действительно, вода доходила тому до груди. – Пройти можно...

– А как дальше? – и словно в ответ на его слова из березняка вылетела, тонко пропев, стрела и ударила в шлем стоящего спиной к леску нукера. От испуга он пригнулся, опять уйдя с головой под воду.

– Засада!!! Карагайцы!!! – завопили остальные.

– Молчать! – крикнул Кучум. – Луки к бою! Всем спешиться!

Нукеры соскочили с коней, очутившись по колено, а кто и выше, в холодной талой воде, повывтаскивали луки, настороженно ожидая команды.

– Первая сотня, взять их! – выкрикнул хрипло Кучум, сам оставшийся в седле, и, дав шпоры, поехал вперед, прикрыв лицо круглым щитом.

Со стороны леска вылетело с десятков стрел, но, не долетев до нукеров, попадали в воду. Зато первая сотня тут же осыпала редкий лесок тучей стрел, и оттуда послышались крики, протяжные стоны.

– Хан, смотри, – указал влево сотник Сабир.

Кучум повернул голову и увидел десятка два лодок-долбленок, что, рассыпавшись полукругом, плыли прямо на них.

– И там лодки! И сзади! – послышались голоса.

Кучум крутанул коня на месте, и былая острота зрения вмиг вернулась к нему, как случилось в минуты наивысшей опасности. Со всех сторон к ним направлялись долбленки, низко сидевшие в воде, с двумя, а то и тремя-четырьмя лучниками, укрытыми плетеными из прутьев щитами.

– Вторая сотня... – зычно, набравшим силу голосом, растягивая слова на окончании и чуть торжественно, отдал приказание Кучум, краешком глаза следя за выражением лиц нукеров. – Рассыпаться-я-я... прикрывать нас сзади... Ближе лодки не подпускать! Стрелять по команде, – и уже негромко, вполголоса, но зная, что нукеры ловят каждое сказанное им слово, интонацию, добавил: – Думают, они нас взяли, песьи дети... Это мы их выманили на себя. Теперь они наши...

Второй сотней командовал Кутай-бек, и он, не сходя с коня, подбадривал нукеров, указывая коротким взмахом руки, где кому встать, посматривая на быстро приближающиеся к ним долбленки.

– Копья готовь, – кивнул он тем, что стояли в первом ряду. – Как подплывут ближе, на бросок, бросайте в гребцов.

Меж тем первая сотня мерным шагом брела по направлению к березовому леску, все больше погружаясь в воду, вытягивая вверх руки с зажатými в них луками. Наконец они миновали наиболее глубокое место и с криками бросились на укрывшихся меж березок карагайцев. Те не выдержали и бросились бежать, но их тут же настигали, рубили саблями, кололи короткими копьями. Вскоре все было кончено, и нукеры, возбужденные короткой схваткой, радостно закричали, потрясая оружием.

Но карагайцы добились своего, задержав отряд Кучума возле леска, и теперь сжимали их кольцом, обложив, словно волка в логове, цепью вертких и юрких долбленок. Но подплывать на выстрел они опасались, держась на порядочном расстоянии. Может, они надеялись на испуг, когда, увидев их, нукеры бросятся бежать, не сумев организовать должной обороны. И Кучум в который раз поблагодарил Аллаха, что сам повел отряд, не доверился кому-то. Кто знает, как бы повел себя иной человек на его месте.

– Может, попробовать отбить у них несколько лодок? – предложил Сабир. – Потом мы оттеснили бы остальные...

– А ты сам когда-нибудь садился в такую лодку? – криво усмехнулся Кучум.

– Нет, а что...

– А вот то, что не усидеть тебе в ней, перевернешься тут же.

– Тогда нам нужно идти вперед, – робко пожал плечами сотник, – не век же здесь стоять...

– Они только и ждут этого. Нет, вперед нельзя. Надо выбирать сухое место. – И Кучум повел головой, всматриваясь в окрестности, отыскивая ближайшее возвышенное место.

– И что потом? – не унимался Сабир. Наверное, велико было его желание отбить лодку у карагайцев.

Кучум тоже допускал, что найдутся воины, которые смогут управлять верткой долбленкой, но что-то подсказывало ему об опасности подобного решения. Он не мог объяснить, в чем именно, но... опыт старого воина противился тому.

– Хорошо, я согласен, – наконец согласился он, – но мне не столько нужна лодка, как один из карагайцев. И желательно молодой.

Сабир, не задавая больше лишних вопросов, побрел к нукерам и о чем-то начал совещаться с двумя плотно сбитыми коренастыми воинами, время от времени указывая им в сторону долбленок. Те согласно кивали головами, внимательно слушая сотника.

У Кучума наконец созрел хоть какой-то план, и он, покусывая тонкий ус, подозвал к себе Кутай-бека. Тот подъехал ближе и заявил как ни в чем не бывало:

– Хорошо, комаров пока нет, а то бы заели давно...

– А эти комары как? – Кучум кивнул в сторону долбленок.

– Э-э-э... хан! Разве у них есть крылья? То караси, а не комары. Сонные караси, ленивые, – скривился, показывая полное презрение к противнику. – Пусть себе плавают. Нам они не мешают.

– Раненых нет?

– Ни единого, мой хан.

– Но глазеть на этих карасей я больше не желаю, – Кучум сплюнул в воду и смотрел, как плевок застыл у конской ноги, постепенно растворяясь в ней. – Сделаем так. Пусть твоя сотня прикроет отход первой, а потом меняется местами. Мы с тобой отходим последними. Все понял?

– Конечно, что тут не понять. Отходим...

– Не просто отходим, а медленно, прикрывая друг друга.

– Пусть будет так, хан, – беспечно пожал плечами Кутай-бек. – Значит, обратно в Кашлык возвращаемся? – он все же хотел незаметно, исподтишка уколоть Кучума.

– Когда-нибудь мы вернемся в Кашлык, но не сегодня. Отдавай приказ.

Вторая сотня по приказу Кутай-бека растянулась строем на две стороны, образовав широкий проход для первой. И нукеры под предводительством Сабира медленно попятнулись назад, огрызаясь как раненый зверь, поводя угрожающе луками и копьями в сторону карагайцев. Кучум подумал, что эти воины, многие из которых пришли с ним когда-то из-под Бухары, не предадут, не бросят, скорее умрут, чем позволят упасть хоть волосу с его головы. Приятно было смотреть, как покрытые сабельными шрамами нукеры неспешно отступают, не выказывая паники или малейшей растерянности. Таким же неспешным шагом они проходили мимо его шатра во время посещения Кашлыка послами от других правителей. Вот они прошли меж прикрывающих их рядов и остановились, образовав ровный строй для выхода второй сотни. Так, меняясь местами, не подпуская к себе близко плывущих следом карагайцев, они выбрались наконец на сушу, где рос густой хвойный лес и виднелась уходящая вдаль широкая тропа. Только раз позади раздался чей-то крик, звонкие удары веслом о воду, всплески, но и они быстро смолкли.

– Всем разводить костры! – приказал Кучум. – Выжимайте одежду и сушите на огне. Остаемся здесь до вечера. А вам проследить за мятежниками и выставить охрану, – кивнул Сабиру и Кутай-беку.

Но Сабир вскоре вернулся и, радостно улыбаясь, сообщил:

– Взяли, мой хан...

– Кого? – удивился тот, забыв уже о своем прежнем распоряжении, но по сияющему лицу сотника понял, кого он имеет в виду. – А-а-а... Ну, веди, веди. Одного взяли?

– Остальных зарубили, – все так же радостно улыбаясь, поведал Сабир. – А надо было и тех привезти?

– Поглядим, что этот скажет.

Сабир провел Кучума на небольшую полянку, где сидел привязанный спиной к разлапистой ели совсем еще молодой карагаец. Он с тоской поглядывал на своих охранников, тех самых плотных и кряжистых воинов, с которыми совсем недавно совещался сотник. Они еще не успели обсохнуть и стояли, подрагивая от холода, стуча зубами, вода капала с них, и когда Кучум махнул им рукой, что могут идти, то с радостью побежали к ближайшему костру, даже не взглянув на доставленного ими пленника.

– Как зовут? – присаживаясь на корточки, спросил Кучум.

– Маймыч², – трясаясь всем телом, покорно отозвался тот.

– Точно, Маймыч, – ухмыльнулся Кучум, оглядывая тщедушное тело карагайца, что так же невероятно дрожал от холода и страха, с ужасом смотрел на беседующего с ним человека. – Догадался, кто я? – Тот еще сильнее затряс головой. – Вот и хорошо, значит, все поймешь с первого раза. – Кучум вытащил из-за пояса кинжал и поднес его к пленному, закрывшему от страха глаза. – Не бойся, я не стану тебя убивать, – и с этими словами он разрезал ремни на руках и ногах карагайца, но тот даже не шевельнулся и лишь сильнее вжался в комель ели, словно пытался врасти в нее. – Встань, – резко приказал хан. – Пленный вскочил и тут же упал назад, больно ударившись головой о корень. Так он и лежал, как вынутый из силков зайчонок, лишившийся сил от испуга. – Видишь, – провел кинжалом перед его лицом Кучум, – я могу лишить сил любого человека, а тебя, Маймыч, уже лишил.

– Пощади, хан, – прошептал тот и заплакал, – меня мать дома ждет.

– Выполнишь все, что я прикажу, вернешься к матери. Скажи, выполнишь? Да? А не то... умрешь медленно и мучительно. Ты не сможешь шевельнуть рукой или ногой, коль ослышаешься, и будешь долго так лежать и видеть, как разлагается твое тело, его разъедают черви, вывалятся наружу кишки, и пока не вытекут глаза, ты все будешь видеть, но и после этого еще долго, много дней, чувствовать все происходящее с твоим телом. Ты в моих руках и не смеешь

² Маймыч – малёк, ребенок (тюрк.)

ослушаться моего приказа. Попробуй, шевельни хоть пальцем. – Пленный бросил взгляд на прижатые к туловищу руки, и по тому, как напряглись вены у него на лбу, было понятно, каким неимоверным усилием он заставляет сделать хоть одно движение пальцами. Но те не слушались, словно окаменели, и слезы покатались по сморщенному лицу пленного, делая его еще более жалким и беспомощным. – Не надо реветь, ведь ты мужчина. Все кончится хорошо, коль будешь слушать меня. Договорились? – Маймыч захлопал короткими ресницами, но страх не уходил из глаз, и так он слушал Кучума, теперь уже окончательно став похожим на кролика, лежащего перед раскрывшим пасть удавом.

Кучум еще долго говорил с ним, а потом резко выбросил руку вперед и воткнул в толстый ствол кинжал. Маймыч вздрогнул, неожиданно вскочил, сделав несколько неуверенных шагов, и побежал, поминутно оглядываясь.

– Помни, что ты в моей власти, – крикнул вслед ему Кучум.

Поздно вечером с одного из постов раздался окрик дозорного, и вскоре Кучуму доложили, что к их лагерю приплыл на лодке тот самый пленник, с которым хан долго беседовал. Пройдя вслед за воином, Кучум еще издали различил маленькую фигурку карагайца, покорно стоящего у берега, сложив руки на груди.

– Это ты, Маймыч? – спросил для верности.

– Да, мой хан. Я все выполнил, как было приказано, – и он указал на темнеющую неподалеку лодку.

– И тебе удалось справиться одному? – в голосе Кучума послышалось неимоверное удивление. – Как ты смог?

– Хан своим заклинанием дал мне сил вдесятеро больше, нежели прежде.

– Понятно, понятно, – свел брови на переносье Кучум, – веди, показывай.

Они прошли к лодке, на дне которой лежало тело мужчины в боевых доспехах. Кучум ногой пошевелил его, и по всему было видно, что тот мертв, а рана, зияющая на горле, лишь подтверждала это.

– Кто-нибудь видел, как ты убил его?

– Нет, – спокойно ответил Маймыч, – я позвал его к своей лодке, желая сообщить что-то важное, а когда он наклонился, то ударил в горло кинжалом, – и он протянул Кучуму его собственный кинжал, покрытый коркой крови. Хан принял его, отер о рукав и небрежно опустил в ножны. – А остальное было нетрудно сделать...

– Хорошо, хорошо, – хан брезгливо поморщился, – можешь не пересказывать. Ты свободен, плыви обратно.

– А как же награда? – тонким голосом спросил Маймыч.

– Я даровал тебе жизнь, – коротко ответил Кучум.

Когда лодка карагайца отплыла довольно далеко от берега, хан продолжал стоять на берегу, напряженно глядя в едва темнеющий ее силуэт. Потом вынул кинжал, несколько раз прочертил в воздухе круг и с силой воткнул его в ствол ближайшего дерева. Тут же лодка остановилась, замерла, над ней показались очертания человеческой фигуры, а потом послышался вскрик и отдаленный всплеск. Вскоре все смолкло, и лишь невысокий борт долбленки спокойно покачивался на водной глади.

– Так-то оно лучше, – негромко обронил Кучум и, повернувшись, встретился взглядом с одним из охранников, что оцепенев наблюдал за всем происходящим.

– Тс-с-с! – хан приложил указательный палец к губам. – А то знаешь, что с тобой может случиться? Вот и ладно. Лучше найди веревку покрепче и за ноги привяжи этого мертвеца к верхней ветке вон той березы. Справишься?

Охранник молча закивал головой и кинулся к убитому, которого оставил на берегу Маймыч.

Вернувшись к своему костру, где сидели Кутай-бек и сотник Сабир, Кучум как бы между прочим сообщил:

– Завтра возвращаемся обратно в Кашлык. С предводителем карагайцев, которого прозвали невидимкой, Кузге-беком, покончено.

– Как! – в один голос вскрикнули Кутай-бек и Сабир.

– Да очень просто. Он висит вниз головой на ветке березы. Завтра сами можете убедиться в этом. Нет-нет, сидите, – остановил их жестом, – не стоит ради презренного изменника прерывать нашу беседу. Впрочем, я мог бы расправиться с ним, и не выходя из Кашлыка, но решил чуть поразмяться. – Кучум говорил высокомерно, оттопырив нижнюю губу, как бы нехотя произнося слова, а сотник и Кутай-бек благоговейно взирали на своего хана, как на некое высшее существо. Недаром о нем ходили всякие слухи, мол, обращается он то в орла, то в волка, может разить врага, лишь взглянув на него издали. Сейчас они сами убедились в правдивости тех слухов. Что ж, тем лучше. Трудный поход закончен.

Весть, что Кузге-бек убит, мигом разнеслась по лагерю, но ни один из нукеров в сумерках не решился идти к дереву, где висел бунтовщик, все ждали утра. А утром все с удивлением задирали головы вверх, где на толстой ветке висел привязанный за рукоять крепкой веревкой изогнутый у основания кинжал хана Кучума. Долго искали охранника, которому поручено было втащить на дерево мертвого Кузге-бека, но и его не удалось отыскать. Не было видно и карагайцев, ни одна лодка не разрезала водной глади, да и сама вода заметно пошла на убыль.

– Отправляемся обратно в Кашлык, – хмуро приказал Кучум, для которого исчезновение бека, прозванного невидимкой, было такой же загадкой, как и для остальных нукеров.

«Может быть, карагайцы сняли его с дерева и увезли с собой, – успокаивал он себя всю обратную дорогу. – Только как не видели их караульные, что менялись дважды за ночь. Странно все это...»

Все селения, лежащие на их пути, казались вымершими. Люди бежали от ханского отряда в глубь леса, прятались на болотах. С одной стороны, это злило Кучума, а с другой... подданные должны бояться своего правителя. Так было и будет всегда, пока существует этот мир.

А земля вокруг них просыпалась, оживала, наливалась силой, и грешно было не улыбнуться ее первозданной девичьей нагоде, сбросившей пелену зимних одежд и пока не успевшей надеть летнее одеяние. Ее погрузневшее, разомлевшее под весенним солнцем тело роженицы устало дышало всеми порами кожи-земли, вздымалось буграми холмов, провалами оврагов.

Весенние воды ушли, освободив место для буйства трав и цветов, что украсят землю, оденут ее и возвестят миру о появлении на свет еще одного года жизни, несущего с собой радость и веселье.

Цепочка медленно едущих над речным обрывом всадников напоминала издали стаю черных птиц, парящих у самой земли. Впереди ехал, опустив плечи, человек с седой бородой, тягостно думающий о чем-то своем и не замечающий пьянящих красок весны и прихода на Сибирскую землю нового и молодого года, обещающего множество перемен.

В Кашлыке их ждало известие, что взбунтовались вогульцы, живущие в верхнем течении реки Тавды. В другой бы раз Кучум немедленно направил несколько сотен на их усмирение, но сейчас... сейчас у него просто не было сил для нового похода. Приказав начальнику не пускать к нему кого бы то ни было до следующего утра, он лег, укрывшись с головой, чтоб не слышать доносящихся снаружи шорохов, вскриков гнездившихся неподалеку птиц, радостных воплей детей, радующихся весеннему солнышку и теплу.

Сон долго не шел, но усталость взяла свое, и вскоре он уже погрузился в тяжелое забытие, как вдруг кто-то тронул его за плечо и назвал по имени.

– Кто здесь? – встрепенулся он. – Я же просил никого не пускать...

– Это я, мой хан, – услышал он знакомый голос, но не сразу смог припомнить, кому он принадлежит. – Ты звал меня, и я пришел...

То, как вошедший говорил, растягивая слова на окончании, что обычно свойственно всем сотникам и башлыкам, привыкшим выкрикивать команды, пересиливая ветер и пургу, а также знакомая шепелявость, наконец, позволило Кучуму узнать разбудившего его.

– Алтанай?! Ты?!

– Я, мой хан. Ты еще не забыл меня?

– Но ведь ты умер...

– Да, умер.

– Как ты можешь говорить со мной? Может быть, и я умер? Ответь...

– А какая разница между живым и мертвым? Мы находимся в одном мире. Сейчас ты думаешь, что спишь, а на самом деле твоя душа беседует со мной. Иной живой больше на мертвого походит. Так-то...

– Почему ты раньше не приходил? Почему именно сейчас?

– Раньше, хан, ты не звал меня. Занят был. Сейчас тебе очень тяжело, и уже который день зовешь своего старого башлыка.

– Устал я, Алтанай. Ох, как устал. Жить не хочется больше...

– То не от нас с тобой зависит. Все в руках Аллаха. Нельзя смерть торопить. Видно, не пришел пока твой час.

– А ты можешь сказать, когда он придет? Скажи, дружище, мне очень нужно знать, сколько отмерено мне.

– По делам нашим отмерено: по благим и дурным. Ты все сделал, что хотел?

– Нет пока...

– Вот видишь. Свершишь одно, а там открывается другое. Сам себе меру и кладешь. Много, много пока дел у тебя, хан. Пострадай еще.

– И тебе не хочется обратно, Алтанай? Помог бы мне. Видишь, как маюсь один без верной руки. Тяжко...

– Нет, не хочется. Я уж не тот, что был раньше. Все мне видится иначе. Отвык от суеты вашего мира.

– Значит, не поможешь? И ты против меня. Эх, Алтанай, Алтанай...

– Зачем хан рвет себе душу? Пустое это все. Живи как живешь.

– Подожди, не уходи, – Кучум протянул руку, чтоб коснуться плеча старого башлыка, но рука не слушалась и осталась неподвижной. – Ответь тогда, где тебя похоронили.

– Это могу. Садись на своего вороного и поезжай на полночь. Он сам привезет тебя к моей могиле.

– И еще... Тебя убил хан Едигир?

– Нет. Просто пришло мое время. Аллах призвал меня.

– А Едигир? Он живой или тоже умер? Ответь. Для меня очень важно знать об этом, умоляю...

– Скоро узнаешь. Все в этом мире становится явным, – и, не договорив, старый башлык вдруг исчез.

Кучум сидел на сбитой лежанке и безумно таращил глаза, поглядывая по углам шатра. Тихо вошла Анна, присела рядом, прильнула к груди.

– Проснулся уже?

– Сам не пойму. Спал или нет.

– А я вот что нашла возле шатра, – и она подала ему медную бляху, которую он много раз видел на кольчуге старого башлыка.

Блаженство горестных

Василий Ермак сидел на берегу небольшой речушки и, неторопливо подбирая рукой камешки, бездумно кидал их в воду, наблюдая, как тихая гладь ее разбегается кругами, похожими на глаз живого существа, пытающегося высмотреть нарушителя спокойствия, но так и не разглядев его, снова тихо засыпающего. Наконец Ермаку надоело это пустое занятие, он повел широкими плечами, поднялся на ноги, оглядел степную даль, вслушиваясь в полуденную тишину, нарушаемую лишь стрекотанием кузнечиков да побрякиванием удила пасшейся лошади.

Второй день поджидал он посланных в разведку к ногайцам своих казаков, что должны были отыскать в степи конские табуны мурзы Урмагомета, давнего казачьего недруга. Прошлой весной он со своими нукерами едва не накрыл отряд Ермака, когда они возвращались из Крыма, с рынков Бахчисарая. Пьяный казак – плохой казак. А они пьянствовали всю обратную дорогу, беспечно полагаясь на близость казачьих станиц. Вот тут-то и наскочил на них Урмагомет с сотней нукеров. А казаков всего-то два десятка. Слава Богу, что пищали держали заряженными, отбили и, рассыпавшись, ушли: кто вдоль берега, кто по дну балки, кто скрылся в ближайшем леске. В станицу добралась лишь половина от всего отряда. Голосили бабы-казачки, хмурились старики. Ермаку, а он был старшим в том походе, никто и слова не сказал. Но он сам все знал – виноват. Не уберег казачков. С него и спрос. Может, оттого, что был легко ранен стрелой в бедро, в открытую не высказывались, не вызвали на круг для суда, но про себя он дал слово посчитаться с мурзой, чего бы то ни стоило.

Долго, всю зиму, вынашивал план мести, как это делал обычно, без спешки, ни с кем не делаясь задуманным, а пару дней назад пригласил к себе в курень Гришку Ясыря, Яшку Михайлова, Гаврюху Ильина (все они были с ним в тот раз и тоже ходили зиму как оплеванные, чуя вину) и изложил план мести.

– Нынче гнуса много, и ногайцы погонят свои табуны от становий, в степь подале, где ветерок прохладный отгоняет мошкарку. Пастухов на сотню голов у них не больше трех человек бывает. Если табун большой, то не больше двух десятков.

– Как и нас в тот раз было, – вставил слово Гавриил Ильин.

– Да, как и нас, – Ермак внимательно глянул на него, пытаясь угадать, согласен ли Гаврюха идти в набег. Низовые атаманы на кругу толковали, что с ногайцами надо дружбу держать, мол, царь Иван Васильевич не велел до поры до времени ссориться. Поэтому их набег шел вразрез с планами казацких старшин. Сами же они сидят по куреням, живут от дележа общей добычи, приносимой казаками из набегов. Им нет нужды рисковать жизнью. К тому же и царское жалование как-никак, а им попадает в первые руки. Ермак, не желая ссоры со старшинами, решил собрать в набег лишь близких ему казаков, которым тоже невтерпех сидеть по куреням без дела, ждать общего похода на казылбашев или турок, когда собираются и стар и мал, идут всем войском, а в результате – больше шума, чем дела.

– Не пожалуют нас старшины за это, – словно угадал его мысли самый рассудительный из всех Яков Михайлов, – ох, не пожалуют.

– Чхать нам на них! – вскочил полукровка Гришка Ясырь. – Пушай свои толстые задницы греют на солнышке старшины наши. Им чего? На них не каплет...

– А на тебя давно капать начало? Камышом бы прикрылся, – ответил, топорща белесые усы, Яков Михайлов. – Сам в прошлый раз первый наутек пустился. Забыл, что ль?

– Это я первым? – Гришка сделал вид, что ищет кинжал на широком поясе. – Я первым бежал? А ты меня в балке так шибко обошел, что я сколь ни гнал за тобой, а догнать не сумел.

– Ладно, все хороши, – Ермак нажал легонько на худое плечо Ясыря, усаживая того на место, – дело будем говорить или квитаться начнем?

– Давай о деле, – подал голос молчаливый Гаврила Ильин, самый крупный и неповоротливый из всех, – а то их, брехунов, не переслушаешь. Идите вон на улочку да там и цапайтесь.

– Так вот о деле, – Ермак чуть выждал, собираясь с мыслями, и продолжал: – Коль на большой табун наскочим, голов с полтыщи, то пастухов там не больше, чем два десятка будет. Снимем их: и мурзе отомстим, и кони наши.

– И куда ж мы их денем? – похоже, Яков Михайлов не хотел идти в набег или просто кочевряжился, набивал себе цену. – Съедем? Старшинам подарим? Может, и скажут они за то спасибо, а может, и пожурят, что без спроса ихнего в набег на ногаев пошли...

– Добрых под себя оставим, а остальных на продажу угоним.

– Это куда ж? В Бахчисарай, что ли? Там они нас, ногайцы, мигом накроют, за ушко да на солнышко сушиться подвешат.

– Дай договорить-то, – поморщился Гаврила Ильин, – все норовишь поперек батьки в пекло проскочить.

– Тоже мне батька нашелся, – скривился Яков, но, встретившись с налившимся гневом взглядом Ермака, осекся, – прости, Тимофеевич. Не про тебя я... Про этого увальня, – ткнул рукой в сторону Ильина.

– Коней к кабардинцам отгоним. Есть у меня там дружки кой-какие, – закончил Ермак и замолчал, ожидая, что скажут остальные.

– Я согласен, – беспечно махнул рукой Гришка Ясырь.

– Выдюжим ли втроем? – покачал головой Ильин.

– Ясно дело, что втроем и соваться неча. Тут дюжина добрых казаков нужна. Точно, – высказался Яков Михайлов. – И чтоб не кинулись, как зайцы, в разные стороны в случае чего.

– Вот каждый из вас еще троих и приведет. Таких, за кого головой ручаетесь, – сжал жесткую пятерню в кулак Ермак, – как за себя.

– Это можно, – протянул Гаврила Ильин, – есть такие.

– Вот и добре. Завтра под вечер и выходим. – Ермак встал.

– А чего другим говорить, коль спросят, куды собрались? – не успокаивался ершистый Яков Михайлов.

– На кудыкину гору...

– Скажешь, на богомолье попремся грехи замаливать.

– Ага, в монастырь подадимся. Кафтан на рясу менять, шапку – на клобук. Это точно, – засмеялся вместе с другими Михайлов. – Эх, давненько не ходил я в доброе дело. Руки чешутся.

– Вот и почешешь скоро, – подтолкнул его в плечо Ермак, выпроваживая, чтоб поскорее остаться одному и обдумать до конца план набега, после того как заручился поддержкой друзей.

На другой день, под вечер, собрались у переправы за станицей, подальше от любопытных глаз, и, оглядев друг друга, узнавая старых знакомцев, перемигнулись, посмеялись над Гришкой Ясырем, у которого, похоже, не ко времени загуляла кобыла, и тихой рысью тронулись вдоль реки.

...Сейчас Ермак поджидал их с известиями о ногайских табунах, разослав отряды по четыре человека в каждом в разные стороны. Сам не поехал, не желая впустую маять коня, метаться по степи. Все одно все съедутся к нему, сообщат об увиденном.

Первым вернулся Яков Михайлов со своими людьми и безнадежно махнул рукой, спрыгивая с коня и тяжело отдуваясь.

– Никого, кроме зайцев да байбаков, по всей степи не встретили. Видать, в другую сторону откочевали.

– Ладно, отдыхайте покуда, – щелкнул плетью по голенищу Ермак, – авось другие наткнутся.

Когда солнце упало бочком на край земли, удлинив тени, давая степи возможность остыть, умерив свой зной до следующего дня, показался отряд Гришки Ясыря.

– На ногаяв наскочили! – еще издали закричал он возбужденно.

– И чего? – все вскочили на ноги, потянулись к оружию.

– Да их всего три кибитки стоит. Мы и подъезжать не стали.

– Фу-у-у, – выдохнул Ермак, – правильно сделал, а то бы все дело испортил. Они вас не заметили?

– А кто их знает, – Гришка бросился к баклажке со свежей водой, – они глазастые, могли и разглядеть.

– Там узнаем, – Ермак направился к своему коню.

– Куда ты, Тимофеевич?

– Поеду навстречу Гаврюхе. Ежели и он ни с чем вернется, то сам искать стану. Ждите тут.

Казаки удивленно переглянулись, но перечить не стали. Пусть атаман решает сам, его затея.

Немного отъехав от лагеря, он остановился и стал чутко вслушиваться, пытаясь угадать, откуда должен появиться последний отряд разведчиков. Справа от него виднелись едва заметные издали курганы. К ним-то он и направился, прикинув, что, забравшись наверх, увидит возвращающихся казаков даже раньше, чем они его. Так и вышло. Едва взобрался на курган, как различил чуть в стороне скачущих на рысях четверых всадников, державшихся парами. Пустил коня наперерез им, ловя лицом приятно освежающий ветерок, слившись телом со стелющимся под ним скакуном, направляя бег его одними коленями, отпустив повод, похлопывая правой рукой того по шее.

Казаки, заметив еще издали верхового, приостановились, подняли ружья, но, узнав атамана, радостно заулыбались, Гаврила Ильин пустил коня навстречу к нему.

– Нашли! – закричал издали. – Огромный табун будет. Точно с полтыщи голов! И одного ногая в полон захватили, с собой везем.

Ермак и сам увидел притороченного к седлу маленького плотного ногайца в грязном сером халате. Ему неловко было висеть вниз головой – и он силился поднять ее, непрерывно задирал вверх, но это плохо удавалось, и он что-то бессвязно бормотал толстыми губами, верно, моля отпустить его.

– Зачем он нам? – неодобрительно спросил Ермак Ильина.

– Да наскочил на нас сам. Убивать – жалко. Без оружия был. Отпустить – значит, своих наведет. Решили до тебя привезть, а ты уж решай, как знаешь.

– Решай! – зло выдохнул Ермак. – У самого башка не варит?! – Ильин смутился, хлопнул носом и, несмотря на свои солидные размеры, сделался рядом с атаманом маленьким и невзрачным. Подъехали и остальные казаки. Гаврила подбирал их словно себе под стать: все плечистые, рослые, с пудовыми кулачищами. Такие и полсотню легко одолеют.

– Чего делать с ногайцем? – спросил тот, у которого он был привязан к седлу. – Бормочет все чего-то по-своему. Может, молится?

– Не молится, а детей вспоминает. Шестеро их у него. Говорит, мол, помрут одни, – ответил Ермак, вслушавшись в бормотанье пленного. – Развяжи, – приказал.

Когда пленник очутился на земле и его освободили от пут, то он первым делом поднес руки к лицу и закачал головой из стороны в сторону. Его налитое кровью лицо от долгого пребывания головой вниз покрылось пунцовыми пятнами, и того же цвета стали белки глаз. Он долго качал бритой головой, несвязно бормоча что-то, наконец, разобрав в Ермаке старшего, заговорил, обращаясь к нему:

– Казак якши! Моя казак не трогай! Казак мой не трогай! Якши, бачка?

– Якши, якши, – сдержанно отозвался Ермак, – скажи лучше, сколько пастухов у табуна, – и повторил фразу на ногайском наречии.

– Ун, ун, – выкинул тот два раза растопыренные пальцы рук, – егерме, – и широко заулыбался. Но в уголках его глаз светилась тревога, улыбались лишь складки округлого лица и толстые губы. Глаза смотрели настороженно и недоверчиво. Он хорошо понимал, зачем казаки выпрашивают о пастухах при конском табуне, но не отвечать не мог, опасаясь за свою жизнь. И непонятно, правду ли он говорил. Может быть, пастухов там окажется не двадцать, а полсотни.

– Где ваш улус? – спросил Ермак.

– Шибко далеко, казак, не доехать. Там, – и махнул рукой на восход солнца.

– Так чего делать с ним? Секир башка, – полушепотом спросил Ильин, оттопырив нижнюю губу.

– Отпусти. Он нам зла не сделает. Какой из него воин. стыдно о такого и руки марать, – Ермак, не отводя глаз, смотрел на ногойца. Что-то неприятное, холодное шевельнулось внутри. – Иди, – приказал он и, повернувшись к казакам, пояснил, – пока до своих доберется, мы уже у них побывать успеем. Главное, чтоб они его не хватились, розыск не начали. Надо выступать прямо сейчас.

Ногаяец бросился бежать, время от времени оглядываясь назад и все еще не веря, что его отпустили. А Ермак отправил двух казаков к берегу кликнуть остальных.

– Найдешь дорогу в темноте? – спросил Ильина.

– Должен, однако. Под утро, глядишь, и доберемся, – уныло ответил он, – только кони пристали. Весь день без передыху скакали.

– Чуть отъедем и отдохнем, своих дождемся. Негоже на том месте стоять, где ногойца отпустили. Встретит своих, наведет на нас – тогда держись.

Остановились у небольшого озерка, заросшего высоким камышом. Стреножили коней, улеглись прямо на землю, подложив под головы снятые седла. Вслушивались, как где-то на другой стороне озерка пикал кулик, вскрикивали изредка утки, хлопая крыльями. Верно, птицы, встревоженные приближением людей, отлетели на ту сторону и теперь никак не могли успокоиться.

– Вы вздремните малость, а я наших дождусь, – тихо проговорил Ермак, – как светать начнет, разбужу и выступим.

Он дождался подхода остальных казаков, которые безошибочно нашли их ночевку, перекинулись парой фраз, улеглись. Те, намаявшись за день, дружно захрапели, а он лежал с открытыми глазами, жевал крепкими зубами травинку, прикидывал, как завтра подкрадутся к табуну, как будут гнать его, уходя от погони.

Он не первый раз шел в набег. Но раньше ходил рядовым казаком и лишь теперь решился сбить свою ватагу, стать атаманом. Первый раз его взял с собой Богдан Барбоша, язвительный на язык и отчаянного нрава человек. Ермаку не понравились с первого раза его маленькие бегающие глазки, шепелявая речь, раздрызганная походка полупьяного человека.

– Эй, ты, чернявенький, – обратился он к Ермаку, когда тот только первое лето вместе с Евдокией и ее матерью Аленой прибыл на Дон, выстроил кое-как свой дом-курень и присматривался к местным казакам, не зная, чем занять себя. – Двух баб с собой возишь, да? Как султан, однако. Может, подаришь одну? Молоденькую. Ту, вторую, себе оставь. Старая, она лучше греет. Соглашайся, пока добром прошу.

Кровь ударила Ермаку в голову, но он справился с собой и обвел взглядом толпу бездельничающих на майдане казаков. Их было человек двадцать, и все были не прочь подразнить новичка, развлечься его растерянностью.

– А ты ее спроси, – неожиданно для самого себя нашелся Ермак.

– Да ну! – Барбоша прошелся по кругу, вихляя толстым задом в широких синего сукна шароварах. – Выходит, ты ей не хозяин. У нас, казаков, так не принято. Мужик решает, а баба – она баба и есть. Что корова: куда приведут, там и доится.

Казаки дружно заржали, пытаясь подбить Ермака на драку. Он не боялся тщедушного Барбошу и даже хотел уже подойти к нему, схватить поперек и бросить на землю. Но потом, чуть помедлив, достал кинжал, повел глазами и, увидев врытый посреди майдана в землю столб, точно через плечо метнул кинжал. Тот мягко вошел в древесину, подрагивая рукоятью.

– Попади, – кивнул Барбоше.

Тот понял, что ему предлагают состязание, и, так же вихляясь, подошел к Ермаку, вынул свой длинный с перламутровой рукоятью кинжал, прищурился и с силой метнул его. Он прошел в ладони от столба и, кувыркнувшись, зарылся в пыль. Казаки возбужденно закричали, заулюлюкали.

– Ай, Барбоша, оскандалился перед чужачком! Как он тебя!

– Бывает, – смущенно ответил тот, – а пушай он еще раз попробует. Ну-ка, Ефим, дай ему свой ножичек.

Рыжеусый казак подал Ермаку кинжал. Тот не раздумывая принял его, прикинул вес, взявшись за конец лезвия и отведя руку, метнул. Кинжал точнехонько впился рядом с первым. Казаки радостно загомонили, подбадривая Ермака. «А ну, мой метни!», «Покажи и моим», «Любо», – слышались крики, и к нему потянулись руки с кинжалами самой разной формы. И он, не глядя, брал их, прикидывая на вес, отводил руку, шурил глаз, видя лишь столб, и метал, метал... Остановился, вытер испарину со лба, лишь когда весь столб был утыкан кинжалами, а казаки похлопывали его по плечу, приговаривая: «Наш будет», «Такой не подведет», «Айда, выпьем по чарочке за дружбу казачью».

Подошел и Богдан Барбоша, примирительно протянул руку, чего-то там шепелявил, Ермак и не разобрал. Горячая волна опять прилила к голове, и он уже не мог различить отдельных голосов. Потом все же понял, что Барбоша зовет его с собой в набег на ногаев красть коней. Согласился. Отбили табун в две сотни голов, но ногайцы нагнали их далеко в степи. Около сотни всадников, а казаков всего два десятка. Едва ушли. С тех пор они не то что подружились с Богданом Барбошой, но и не чурались друг друга. Тот несколько раз напрашивался в гости к Ермаку, хвалил угощения, что выставляли Алена и Евдокия. Ермак видел, какими глазами он глядел на Дусю, но сдерживался, молчал.

Как-то, вернувшись с рыбалки, застал его сидящим в своем курене на лавке на хозяйском месте пьяненького в расстегнутой рубашке. Алены дома не было, а Дуся, покрасневшая и слегка захмелевшая, сидела рядом и смеялась каким-то рассказам Богдана. Тот, увидев хозяина, тут же заспешил, засобиравшись на выход. Ермак не противился. А ночью ушел спать один на улицу.

С тех пор между ним и Евдокией будто бы пробежала черная кошка. Она ходила, низко опустив голову, почти не разговаривала с Василием. И Алена, заметившая перемену, произошедшую с дочерью, украдкой принесла от соседки святой воды, обрызгивала ее спящую, шептала молитвы. Но Евдокия оставалась столь же безрадостной и угрюмой, лишнего словечка не обронит, не взглянет как раньше радостно, не одарит улыбкой. Казаки в то лето собирались в большой поход на турок, готовили струги, и Василий подолгу пропадал на берегу, домой приходил поздно. Когда суда были готовы и сбор назначили на другой день, он попробовал поговорить с Дусей, выбрав момент, когда Алена ушла из дома.

– Что случилось? – начал первым, притянув ее к себе за руку. – Или разлюбила. Так я не неволю – уходи. А не хочешь ты, так я уйду.

– Василий, прости меня, прости. Я сама не знаю, что случилось. Ребеночка хочу, а Господь не дает. Не венчаны мы, вот и причина вся в том.

Василий чувствовал, что она не договаривала чего-то, но разговорить ее, заставить открыться не мог, не умел, не был научен тому.

– Ладно, живи, как знаешь. Коль вернусь живым с похода, то или в другую станицу уйду, или в другой курень попрошусь на постой.

Поход оказался тяжелым. Турки словно поджидали их и разгромили несколько стругов из пушек, не дав им подойти к берегу. Ермака легко зацепило осколком в левую кисть руки, рана долго гноилась, вызывая раздражение и злость. Вернувшись, застал Дусю столь же сумрачной, молчаливой, не отвечающей на вопросы. Словоохотливые соседки мигом поведали ему, что она желала утопиться, да спасли рыбаки, ставившие сети неподалеку. Поздним вечером Алена вызвала его на двор и зашептала:

– Слышь, Василий, хороший ты мужик, да дочери моей счастья дать не сумел. Твоя ли, ее ли в том вина, но не сложилось у вас чего-то. Как быть-поступить, и ума не приложу. На родину к себе подаваться надобно.

– А я как же... – задал нелепый вопрос.

– Ты как, говоришь? А как ране жил, так и дале жить будешь. Не судьба, видать.

Ему хотелось закричать, выхватить саблю и крушить все, что попадется под руку, но сдержал себя, пересилил, ответив:

– Я Дусе зла не желаю... Может, и впрямь дома ей лучше будет.

Через два дня увидел возле своего куреня подводу, запряженную парой мерин. На телеге сидел старый казак Афанасий Кичка, к которому вдовица Алена частенько заглядывала, водила дружбу.

– Вот, отвезти попросили... – пожимая сухими плечами, словно оправдываясь, пояснил он Василию.

На крылечко вышли Дуся с матерью, обе одетые по-дорожному, закутанные по самые глаза в строгие черные платки. Из глаз Алены одна за другой, накапливаясь в глазницах, бежали слезы.

– Чего удумала, чего удумала, – повторяла она, растягивая слова и всхлипывая, – в монастырь собралась. В твои-то годы, – выговаривала, обернувшись к дочери. Василия они обе словно и не видели. Уселись на телегу, перекрестились на деревянный крест часовенки, выглядывающий из-за камышовых крыш казацких куреней, и Афанасий хлестнул лошадей, телега со скрипом тронулась.

Василий обескураженно стоял во дворе, словно не верил, что Дуся, его Дуся, не простившись, уезжает. Кинулся следом, догнал, схватил за руку, пошел, подстраиваясь под неторопливый шаг мерин, рядом. Неожиданно Дуся обняла его, поцеловала в лоб, в щеки, легко коснулась губ и выдернула руку, закрыла лицо.

– Останься, – тихо проговорил он и приостановился, надеясь, что она спрыгнет с телеги, подбежит к нему, обнимет, и они вместе вернутся в дом. Бросилось в глаза, как одно из колес у телеги подпрыгивает, верно, плохо закрепленное, мотается из стороны в сторону, и почувствовал неожиданно, что сейчас разрыдается, не сможет удержать соленую влагу, если не протолкнет комок, скопившийся в горле, перекрывший дыхание. Резко повернулся, широко зашагал к дому, но не стал заходить, а прошел к речке и просидел там до позднего вечера. На другой день вернулся Афанасий, смущенно, как-то бочком подошел к нему и протянул, держа осторожно двумя пальцами, колечко с зеленым камешком, что он подарил Дусе после первого своего похода.

– Передать просила... Сказала, мол, кровь на том кольце. Может, ты его с мертвой какой снял да ей и привез.

Ермак схватил кольцо, хотел зашвырнуть подальше, но передумал и оставил, зажав в кулаке.

– Чего еще говорила?

– Все про монастырь толковала, что грехи замаливать отправится туда. Не по душе ей жизнь наша вольная. Алена-то отговаривала ее всю дорогу, а она уперлась и на своем твердо стоит. Кремень, не девка. Ты уж извиняй меня... – кашлянул и заковылял на майдан.

Василий оставил колечко на память о Евдокии, расклепав, закрепил на ножнах кинжала и, каждый раз, притрагиваясь к ним, вспоминал недолгую любовь свою, что не уходила, не угасала, а жгла изредка, нагоняя тоску, постоянно шевелилась внутри тяжелым комком. Он не сразу заметил, что пропал куда-то из станицы Богдан Барбоша, но не хотел соотносить его исчезновение с отъездом женщин. Поинтересовался у знакомых казаков – отвечали, мол, подался с небольшим отрядом на Волгу промышлять купеческие суда, караваны брать. Решил, что так оно и к лучшему. Может, чувствовал тот вину за собой какую, может, совпал его уход с отъездом Евдокии, но Ермаку казалось, что встретятся они еще. Непременно встретятся. Должно так случиться.

И еще думалось, что недолго жить ему в казачьих станицах, скакать по степи. Снились изредка родные сибирские леса, слышалось шуршание снежного наста под ногами, кожей ощущал мягкое прикосновение тончайших снежинок, опускающихся на раскрытую ладонь. Сибирь звала, манила к себе, но он не знал пока, какая дорога выпадет ему, кто направит, укажет единственный путь.

...Он так и не уснул до самого рассвета. Как только начал сереть краешек неба, предвещая восход, растолкал казаков, первым пошел к озерцу умыться, и, наскоро перекусив, выехали навстречу взбирающемуся на небесный купол дневному светилу.

По вытопанной траве, выщипанной до самых корней, по многочисленному конскому помету безошибочно определили – табун находится где-то неподалеку. Нашли неглубокую балку, спустились в нее, начали совещаться вполголоса:

– Может, мне прикинуться, мол, заблудился, своих ищу, и подъехать к табунщикам? – предложил Гришка Ясырь.

– Думаешь, они дурнее тебя будут? – усмехнулся Яков Михайлов. – Тут же с коня ссадят да свяжут, поинтересуются, куда ихний человек делся. Не-е-е... тут чего-то поумней придумать треба.

– Налетим с ходу и в сабли, – вставил Пашка Ерофеев, закадычный друг Гришки, такой же тонкий в поясе и с длинным чубом, свисающим на лоб.

– Уйдут и табун утянут за собой, – покачал головой Ермак, – я бы на их месте в серединку табуна забился, шевелил, гнал его, и вовек вам меня не схватить. Они-то умеют это делать, насмотрелся...

– Чего же предлагаешь? – Яков сидел на корточках и обрывал травинки левой рукой, правой удерживая коня за повод. – Ночи дожждаться? Ночью поди разбери, где свой, где чужой.

Ермак долго не отвечал, пристально вглядываясь в лица казаков, ждавших от него главного слова. Потом остановил взгляд на Гришке Ясыре, спросил как бы между прочим:

– Кобыла твоя точно загуляла?

– Нашла, дура, время, – засмеялся тот, – от Пашкиного жеребца едва отбиваюсь, уворачиваюсь. Того и гляди, заскочит, меня сомнет. – Все дружно захохотали, похлопали Гришку по спине.

– Да они за ночь, пока ты дрых, давно уж разобрались. Мой Орлик не промах. Так что с тебя причитается, – Пашка Ерофеев радостно оскалился, погладил по шее своего вздрагивающего и всфыркивающего жеребчика, который и впрямь беспрестанно косился на Гришкину кобылку, тянулся к ней губами, натягивая повод.

– Это хорошо, хорошо, – несколько раз повторил негромко Ермак, – это нам на руку.

– А-а-а... Понял, – заговорил Гаврила Ильин, – к табуну подпустим ночью, а она жеребца приманит. Так говорю?

– Так-то так, да это еще полдела. Табунщики его мигом обратно завернут. Это им не впервой. Тут особая хитрость нужна.

– Так говори! Чего kota за хвост тянешь?! – раздались неторопливые выкрики. – Ты у нас башковитый, сказывай.

– Главное – это табунщиков от косяка выманить, не дать к своим уйти, погоню направить. Ежели хоть один до своих кочевий доберется, подымет, то они всем скопом навалятся, достанут, с живого кожу сдерут...

– Да не пужай ты, пуганы мы, – перебил Яков Михайлов, – дело говори. Коль пришли, не обратно же вертаться.

Ермак присел на корточки и, вынув кинжал, стал чертить на земле, где кому размещаться и как действовать. Казаки внимательно слушали, согласно кивали головами: теперь уже никто не перебивал, понимая, что от правильности решения атамана зависит не только удача, но и жизнь.

Троих казаков вместе с Григорием Ермак отправил подкрасться к табуну и высмотреть, сколько там пастухов, где стоят, чем заняты. Когда те уже по темноте вернулись, рассказали все, что удалось увидеть, коротко отдал приказания, направив каждого по своим местам.

– Они с двух сторон табун стерегут. Ты, Гаврила, со своими казаками подкрадетесь к тем, что ближе к ложине стоят. Постарайтесь снять без шума. Яков с другой стороны костерок запалит, и они, что со стороны степи охраняют, обязательно поинтересоваться подъедут. Не все, но человека два-три непременно. Не зевайте, сшибайте их и на остальных насакивайте. Не давайте в середину табуна забраться, завертеть его, а то их потом оттуда никакими чертями не выкуришь. А тебе, Ясырь, кобылкой своей жеребца приманить и увести подале в сторону. Глядишь, и весь табун за ним потянется, поскачет. Тут уж как повезет. Ну, с Богом.

– С Богом, – отозвались все и дружно перекрестились, нащупывая кресты под рубашками, о которых большинство и вспоминало лишь в минуты опасности, близости смерти. Такие, как Ясырь-полукровка, и вовсе были не крещены, но крест носили, шептали что-то наподобие молитв или заговоров, что кто умел. Почти все поголовно носили ладанки с землицей, набранной с родных мест, откуда пришли, надеясь, что уж земля родная точно спасет и от стрелы, и от пули, и саблю отведет.

Ермак, разослав казаков и оставшись один, долго вслушивался в ночные шорохи, пытаясь разобрать хоть малейший шум, производимый кем-то из его товарищей. Но все было тихо, словно и не было вокруг никого, и лишь он один затерялся под звездным небом у края неглубокой балки, да конь его чуть всхрапывал, тыча мокрыми губами в спину. Ему стало вдруг жутко и показалось, будто кто-то большой, невидимый подсматривает из темноты, ждет случая, чтоб напасть, схватить за горло, придавить к земле. Ощупав заряженную пищаль, проверил, на месте ли кресало и трут, поправил саблю, легко вскочил в седло, поехал шагом, не давая коню перейти на рысь, натягивая повод.

Чуть проехав, различил два огня, мерцающих один по правую руку, а другой по левую. То, верно, были, как он и предполагал, костры табунщиков, что готовят себе в медных котлах пищу, беззаботно переговариваются меж собой, не подозревая о казаках, крадущихся к ним. Но вот чуть дальше от правого костра засветился сперва слабо, а затем поярче костерок, запаленный, как было уговорено, казаками Якова Михайлова. Теперь он подхлестнул коня, перешел на рысь, держа направление точно меж двух костров, где, по его расчетам, должен быть сам табун.

Вскоре он услышал призывное ржание Яшкиной кобылы, отметил про себя, что и Ясырь добрался до места, выманивает жеребцов. Василий подумал и направил коня вправо, где могла понадобиться его помощь.

Один за другим грянули два выстрела, и по раскатистому звуку трудно было понять, откуда стреляли. Задрожала земля, кто-то закричал, заголосил, и Ермак понял, что табун рванулся с места и несется на него. Теперь он нахлестывал коня что есть силы, уходя в сторону, чтоб не быть смятым, растоптанным несущимся сзади него табуном. Но неожиданно где-то сбоку послышалось громкое хлопанье бича, гортанные крики... Табун поворачивал обратно... Значит, случилось худшее. Табунщики успели пробиться к табуну, и теперь их будет трудно

различить среди конской массы, они не дадут направить его в нужную сторону, будут всячески мешать этому. Он опять развернул коня, на этот раз заставив его мчаться в том направлении, откуда слышалось хлопанье бичей, выхватил на ходу саблю и, пригнувшись к седлу, слился с конем, зорко всматриваясь в замаячившие перед ним силуэты.

Ногайцы, сидевшие у дальнего костра, сразу заметили беспокойство коней и встреपнулись, приготовили луки, вслушивались настороженно в темноту. Когда увидели вспыхнувший неподалеку костер, удивление их возросло, и они отправили двух подростков узнать, в чем там дело. Но тут пара жеребцов, отделившись от основного табуна, кинулась в степь. Трое пастухов вскочили в седла и поскакали за ними и тут наткнулись на казаков Гришки Ясыря, схватились за сабли, подали сигнал своим, и те, миглом все поняв, начали заворачивать табун, погнали его в степь.

Якову Михайлову удалось схватить и сбросить с коней двух напуганных до смерти подростков. Другие казаки зарубили еще двух табунщиков, но остальные, укрывшись в центре табуна, гнали его в степь. Тогда казаки, шелкая бичами, разбили табун пополам и попытались направить его в сторону реки. Подоспели казаки Гаврилы Ильина, разделившись с пастухами у ближнего костра, принялись помогать остальным.

Табунщики решили спасти хоть часть вверенных им коней и, улюлюкая, уходили в степь, надеясь, что ускакали от невесть откуда налетевших казаков. Но неожиданно кони замерли, остановились, задние напирали на передних, сжали пастухов. Не помогали плеть, бешеные крики и ругательства. Вдруг они явственно услышали злобный волчий вой, несшийся из степи. Табуном овладело всеобщее смятение, и он, смяная малолеток-жеребят, повернул обратно, помчался вслед за той половиной, что отбили казаки. На табунщика, застывшего в растерянности, налетел кто-то из темноты, рубанул саблей. Другого, поспешившего к нему на помощь, застрелили в упор.

Ермак неторопливо вложил саблю в ножны и поскакал вслед за несущимся по ночной степи табуном, горяча коня. Когда обе половины распавшегося было табуна соединились, взмокшие от бешеной скачки казаки съехались, узнавая, не ранен ли кто. Бог миловал, и даже ни единой царапины ни у кого не было, настолько табунщики растерялись и не смогли дать отпор.

– Ну, атаман, и точно, голова ты у нас!

– Башка у тебя, Тимофеич, крепко варит, – восхищались казаки, перекидываясь на скаку словами. – Теперь главное дело – пригнать их до самого места, да чтоб погони не было.

– Ничего, мы следы запутаем, а пока они нас ищут, далеко уйдем.

На другой день он приказал несколько раз перейти мелкую речушку вброд со всем табуном, прогнать его по тому же следу, крутнулись в сторону, потом в другую и дальше гнали коней без остановки, спали в седлах по очереди и, наконец, на третий день поняли, что ушли, оторвались и теперь уже ногайцам не догнать их. Жалко было только жеребых кобылиц да малолеток, не желавших отставать и падающих без сил в степной ковыль. Табун сократился почти на одну треть, зато им стало легче управлять. Больше всего теряли времени на переправах, сбивая коней в единую массу, заставляя плыть на другую сторону.

Уже на седьмой день показались отроги гор. А вскоре они наткнулись на посты черкесов, укрывшихся в небольшом леске. Обсказали им свои условия обмена табуна на оружие, одежду, богатую посуду, и те послали гонца к своему князю. Тот приехал на другой день в окружении свиты, а позади казаки увидели ряд длинных повозок, укрытых цветастой дерюгой. Догадались, привезли товары для обмена. Князь придирчиво оглядывал едва ли не каждого коня, сетовал, что казаки чуть не загнали их, торговался, как простой купец на базаре. Зато совершенно не интересовался, откуда табун, хотя, конечно, догадывался, поглядывая время от времени по сторонам, словно опасаясь, что сейчас явятся настоящие хозяева коней.

Наконец, ударили по рукам, и казаки взяли под уздцы запряженных в повозки лошадей, предварительно осмотрев и оружие, и посуду, и одежду. Владельцами всего этого богатства теперь становились они. Не оборачиваясь, поехали неторопливо обратно, в душе браня черкесов, что, как обычно, надули, подсунув ношеную одежду, мятую посуду, только ружья и пистолы были исправны.

Добирались долго. Не торопились. Ночью не разводили огня, все еще опасаясь, что ногайцы наткнутся на них, а днем держали на телегах горящие фитили и наготове заряженные ружья. Но вместо ногайцев уже на подходе к Дону встретили своих казаков. Тех было около сотни, вели их Богдан Барбоша и Иван Кольцо, чернобровый красавец с кудрявыми волосами. Про Кольцо Ермак слышал как про добычливого казака, который, случалось, грабил русских купцов, ходил аж под самую Казань. Видел он его лишь один раз в своей станице, куда тот приезжал в окружении таких же удальцов.

Первым подъехал Барбоша, осмотрел повозки, усмехнулся. Стал сетовать, мол, сами они возвращаются после неудачного похода из Крыма и не грех бы поделить богатую добычу. Встреченные ими казаки и впрямь недвусмысленно, недобро, чуть не облизываясь, жадно поглядывали на их повозки. И Ермак, перекинувшись взглядом с товарищами, махнул рукой, чтоб сняли сундуки и мешки с двух повозок, оставив себе половину.

– Да тебе чего, повозок, что ли, жалко? – захохотал Барбоша. – нашел чего жалеть. Давай вместе с повозками.

Ермак ничего не ответил и поехал вперед, врезавшись в толпу конников, расступившихся перед ним, яростно глянул из-под насупленных бровей на Кольцо и его товарищей. И твердо решил, что при первой же возможности уйдет с Дона. Тут ему не жить.

Блаженство власти

Московский царь Симеон Бекбулатович пребывал в добром расположении духа. Мог ли он думать еще год назад, сидя у себя в городке Касимове, что вскоре очутится на самом знатном среди ближайших государств престоле московском. Когда ему передали грамоту царя Ивана Васильевича, в которой тот не приказал, нет, а милостиво просил прибыть его в Москву, то Симеон попросился со своими родичами, полагая, что ехать ему предстоит не иначе как для принятия смерти. За что? Да, может, за то, что тесть его, князь Иван Федорович Мстиславский, в опалу попал, а теперь, страшно подумать, всех родственников на плаху потянут.

Слезно попросившись со всеми, выехал Симеон Бекбулатович тогда в печали великой из Касимова. Сам-то город ему давно опостылел. Не жаловал его народ касимовский за то, что крещение православное принял, русскую жену взял, обрядов дедовских, обычаев не придерживался, одевался под стать русским князьям и даже бороду отпустил им в подражание. А кто знал, что царь Иван Васильевич, уставший от трудов государственных, на него все княжество Московское переложит? Кто знал о том? Скажи о том ранее, так на дыбу в застенки поволокли бы.

Но нет, иная судьба была уготовлена князю Симеону. Еще в Казани живя, в малолетстве, видел, что все татарское не в чести у московитов. Смеялись над ними и за глаза узкие, и за бороды тощие. С дворовыми людьми лучше обращались, нежели с ними, с князьями. А все почему? Татары потому что. Когда же ему городок Касимов пожаловал царь Иван Васильевич, он нарадоваться не мог. Свои покои. Своя охрана. Свой выезд. Виновных карал, нужных людей возвеличивал. А уж про царскую милость не забыл, до конца дней своих помнить будет, чья рука подвела его к княжескому креслу. Потому на каждый праздник и отправлял в Москву подарки дорогие: скакунов наилучших, кречетов для соколиной охоты – дюжинами. Подарок, он не только руку греет, но и память оставляет о дарителе. Вспомнил-таки царь Иван, кто более других холопей ему предан, призвал Симеона ко двору, и не просто призвал, а, страшно подумать, венец царский на него возложил.

Симеон Бекбулатович слез с царского кресла, на котором сидел, пока не было в покоях обычных гостей, просителей, при них он все же стеснялся восседать на царском троне, прошелся по зале и приподнял осторожно крышку сундука, где лежал, посверкивая золотом, венец. Опустил крышку, пробежался к окну, выглянул, проверяя, не идет ли кто ко дворцу, и вернулся к сундучку, вынул венец и возложил себе на голову поверх шапочки, отороченной собольим мехом. Венец был маловат для его округлой тяжелой головы, посаженной на плечи при полном отсутствии шеи.

«Кто бы чего ни говорил там, а ведь не кому-нибудь царь место уступил, а я воспринял престол московский. Ко мне все бояре и послы иноземные на прием просятся, – горделиво откинул голову Симеон Бекбулатович, прошелся широким шагом по зале, опять глянул в окно, – да что послы-бояре, а сам царь кланяется низехонько и на лавку с краешку смирененько садится, глаза в землю опустил. Ох, я им еще покажу, дел понаделаю», – раскипятился новый царь московский, отставив чуть правую ногу и горделиво оглядываясь вокруг.

В это время дверь неожиданно открылась и вошел старший царев сын Иван Иоаннович, зыркнул по сторонам и, увидев Симеона Бекбулатовича, стоящего с гордо откинутой головой, выставленной вперед ногой, прыснул от смеха.

– Ты чего это, Семка, блудный сын, венец царский на башку нацепил? Спереть захотел? Я вот батюшке-то скажу, он повелит тебе плетей всыпать, спустит шкуру твою басурманскую.

– Зачем так говоришь, – обиделся тот, быстро снимая и пряча за спину злосчастный венец, – мне его царь носить доверил, чтоб видно было всем, кто государством правит.

– Это ты-то правишь?! Ты?! Морда татарская! Моя бы воля, так я тебе псарней собственной не доверил управлять, – вкладывая все возможное презрение в свои слова, двинулся на Симеона царевич.

– Но-но, – попятился тот, – не балуй, а то стрельцов позову и царю пожалуюсь, как ты говоришь нехорошо.

– Зови, зови своих стрельцов! Поглядим, что они сделают мне. А?! Испужался! А ну, отдавай сюда венец, я его в свои покои снесу, – он протянул руку, придерживая другой длинную саблю, висевшую на боку.

Симеон Бекбулатович не на шутку струхнул и попятился в сторону двери, надеясь, верно, спастись бегством от расшумевшегося царского сынка, чей крутой нрав (а уж нравом он точно в батюшку пошел) был всем хорошо известен. Неизвестно, чем бы все закончилось, но тут дверь вновь открылась и в залу робко вошел младший сын царя, Федор Иоаннович. На его бледном, еще безусом лице блуждала застенчивая улыбка, и занят он был какими-то своими потаенными мыслями, не сразу разобрав, что происходит. Но, увидев испуганно пятившегося к нему Симеона Бекбулатовича с зажатым в руке золотым венцом и приступающего старшего брата, все понял и бросился вперед, выставив руки, заговорил тихим, но очень чистым голосом:

– Братец, опять ты донимаешь бедного нашего Симеона Бекбулатовича. Ему батюшка такое дело доверил, такое дело... – он внезапно смешался, словно забыв, о чем же он хотел сказать, вновь обвел взглядом залу и, проведя тонкой рукой по лбу, закончил, – искал посла английского, да не нашел... А он сказывал, мол, будет здесь с утра. Не было? – вопросительно глянул по сторонам, словно посол мог укрыться за лавкой или огромным шкафом с серебряной посудой.

– Зачем тебе посол тот надобен? – ворчливо проговорил Иван, делая вид, будто забыл про свою ссору с Симеоном Бекбулатовичем.

– Хотел у него порошок попросить...

– Вот те на... Наша телята бодаться вздумала? – своей насмешливостью Иван пытался уколоть младшего брата. – Отравить кого вздумал? Уж не меня ли?

– Что ты, братец! Посол говорил мне, будто есть такой порошок, который всех людей счастливыми делает. А травить... – лицо Федора при этом исказилось судорогой, пробежавшей по губам, – этого и в мыслях никогда не держал. Как можно человека жизни лишить...

– Как, говоришь?! – Иван захохотал громко и несдержанно, показывая всю неприязнь к Федору. – Или ни разу на казнях не был? Не видел, как жизнью лишают? Бжик, и все! – и он провел ребром ладони по горлу.

Симеон Бекбулатович меж тем незаметно подошел к сундуку и, осторожно приоткрыв его, просунул вовнутрь злосчастный венец. Иван повернулся на скрип открываемой крышки, хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой, скорчил презрительную гримасу и, подойдя к Федору, взял его за локоть, повел к двери.

– Куда ты меня ведешь, брат? – попытался тот вырваться.

– Ты ж англичанина Сильверста хотел найти, вот и пошли. Мне он тоже по делу нужен, – и вывел слегка упирающегося Федора из залы, метнув на прощание взгляд, полный злобы, Симеоноу Бекбулатовичу и даже подмигнул ему.

Касимовский царевич, оставшись один, выпустил воздух, тряхнул головой, словно наваждение отогнал, и со стоном опустился на помост возле царского кресла.

– За что он меня так не любит? – спросил, ни к кому не обращаясь. – Зачем такие плохие слова говорит? Зачем глядит так? – и вдруг соскочив, топнул короткой ногой, завизжал дико с подвыванием: – Убью! Зарежу! На плаху пошлю! Пусть только уедет царь из Москвы, я им всем покажу!

На его голос в дверь сунулся дьяк Андрей Клобуков и с изумлением уставился на кричавшего.

– Тут вот купцы ждут, – проговорил негромко.

– Какие там купцы? Кто велел?

– Так сами же и приглашали купцов с Твери. Велели сегодня с утра пожаловать, – Клобуков стоял на пороге и не входил в покои, показывая тем самым, что его дело сторона, как скажут, так и исполнит. Царь Иван Васильевич приставил его к Симеону Бекбулатовичу, строго наказав сообщать ему самолично обо всем, что тот будет говорить, кого принимать, и доносить немедленно. Однако царь не объяснил, как звать касимовского царевича, по какому титулу величать перед послами, купцами и другим разным людом. Поэтому дьяк исхитрился говорить с царевичем вообще без титула. Хуже приходилось, когда он вводил послов в палату и должен был при этом громко объявлять не только имя, но и титул царя. Но и тут хитрый дьяк нашел выход. Впуская послов, он объявлял: «Прибыл такой-то...» – и тут же скрывался за дверью, предоставляя послам догадываться самим, кто перед ним находится на царском троне.

– А-а-а, – вспомнил или только сделал вид, что вспомнил, Симеон, – проси, проси, давно жду.

«Ну и дурак, – подумал Клобуков, – давно ждет. Разве может царь московский давно ждать? То его ждут, а не он», – и распахнул широко дверь перед купцами.

Тех было трое – из Твери и Торжка – торговые люди. Они приехали жаловаться на утеснения своего посадника и даже не ожидали, что могут столь быстро попасть к царю. Другие болтали, будто по полгода сидят, в приказе дожидаясь, проедая кучу денег по московской дороговизне и еще поднося дьякам и приказным разные подарки. А тут... вчера пришли, а сегодня их царь принял. «Ну и дела», – крутили они головами.

Войдя в палату, упали на колени, дружно стукнувшись лбами о большой, смягчающий удары красный ковер. Потихоньку подняли головы и обомлели: перед ними стоял не царь, а узкоглазый и кривоногий самый настоящий татарин. Они соскочили с колен, стали оглядывать залу, но никого более не найдя, спросили:

– А царь-батюшка где-кося будет? Мы до него...

– Я царь и есть, – ответил татарин.

Купцы переглянулись, но деваться было некуда, и они обсказали свое дело, приведшее их в Москву. Татарин выслушал и крикнул дьяка.

– Пиши мою грамоту, – объявил ему. Клобуков послушно вынул перо, чернильницу, достал чистый лист и пристроился у небольшого стола.

– Велю я, Симеон, царь московский, купцам тверским урону никакого не чинить, а коль они мне сызнова пожалуются, то обидчика ихнего велю сечь плетью до смерти, – продиктовал Симеон Бекбулатович.

Андрей Федорович быстро и скоро записал сказанное, посыпал грамоту песком, стряхнул, дунул для верности и подал на подпись.

Когда обескураженные купцы вышли из Кремля, держа в руках грамоту, вновь переглянулись, перекрестились истово на купола церквей, и самый пожилой, Савелий Карнаухов, зашептал:

– Подменили царя-то... Точно говорю – подменили татариним.

– А взаправдашний где теперь? – спросил Фрол Нестеров, державший на тверских базарах коженные ряды и самый состоятельный из них.

– Слышал я, будто нашенского царя в бочку засадили да за море свезли к иноземцам...

– Дома чего говорить будем?

– А ничегошеньки не скажем. Не нашего то ума дело.

Царь Иван Васильевич в это самое время принимал английского посла Даниила Сильверста и прибывшего с ним медика Елисея Бомеля в своем новом дворце. Все, кто мало-мальски разбирался в делах, творящихся в Московском государстве, не принимали всерьез недавно посаженного на трон касимовского царя Симеона Бекбулатовича. Но мало кто понимал, зачем

царю понадобилось подобное лицедейство, когда государь жив-здоров, а царем его называть нельзя. И дети есть, но и они престол не восприняли, а неотлучно при царе, при отце своем находятся. Ладно бы кого из знатных, родовитых людей определил царь на свое место, вон их сколько бояр, ан нет... Татарина захудалого, словно в насмешку над народом русским, определил Иван Васильевич и заставлял всех ему ручку целовать, кланяться. Оно хоть и болтают, будто окрестили татарина, да и жена у него русская, из древнего рода Мстиславских будет, но кто его знает, чего там наболтать, наговорить могут. Москва нынче ничему уже не верила после всего виданного, слыханного. То царь в слободу Александрову съехал, то с собачьей башкой и метлой у седла ездил, то и вовсе за море отъезжать собирался, а тут, на тебе, татарин в Кремле сидит, себя царем называет.

Но народ московский нынче не тот, ох, не тот, что ране был. Лишнего слова не скажет зоря, чужому человеку думку свою не откроет. Вон они, чурбаки дубовые, на которых шибок говорливым головы секут, а рядом качельки стоят, где подвешенные на пеньковой веревке за шею болтаются. Лучше промолчать, дурачком прикинуться: целее будешь, дольше проживешь.

Иван Васильевич, чуть прищурившись и покачивая в такт словам посла лобастой головой, внимательно слушал перевод толмача Савина. Тот несколько раз побывал в дальней земле, зовущейся Англией, и хорошо понимал по-ихнему, справно переводил, едва успевая за быстро роняющим слова Сильверстом. На худом, изможденном лице рыжеволосого англичанина лежала тень настороженности, и он не сводил глаз с Ивана Васильевича, пытаясь понять, как он воспринимает сказанное. Ему, Даниилу Сильверсту, выпала нелегкая задача, возложенная королевой Елизаветой. Она передала московскому царю письмо, но в письме всего не напишешь, не обскажешь. Царь Иван в предыдущем послании намекнул королеве, что не прочь видеть ее своей женой. Это английскую-то королеву! Так дальше пойдет, то скоро от турецкого султана сваты явятся, чего доброго, и предложат ей стать наложницей в гареме мусульманском. У царя Ивана уже четыре или пять жен было, и говорят, будто бы последнюю собирается в монастырь сослать. Хорош женишок! При живой жене предлагать королеве ехать в Москву и лечь в постель к этому старику!

Иван Васильевич словно прочел мысли посла, неожиданно свел брови, от чего и без того суровое лицо приобрело хищное выражение, а нос сделался похожим на клюв. Но это продолжалось недолго, лицо царя вновь размякло, морщины на лбу разошлись, взгляд потеплел.

Если с женитьбой еще можно отговориться, сославшись на плохое здоровье королевы Елизаветы, то хуже обстояло дело с торговлей. Иван то разрешает английским купцам беспопылинную торговлю в Московии, то отменяет, велит описать все товары, самих купцов сажает в крепость без всяческих объяснений, то отпускает их, возвращает товары, одаривает подарками. Предыдущий английский посланник, Антоний Дженкинс, объездил всю страну вдоль и поперек и добрался до далекой Бухары, хотел побывать и в Китае, но не сумел пробраться туда из-за какой-то азиатской войны. Он говорил Сильверсту, что все азиатские владыки одинаково капризны, как лондонская погода, их поведение невозможно предугадать, и сегодня не знаешь, как они поведут себя завтра. Дженкинсу повезло: он нажил себе громадный капитал и навсегда покинул эту варварскую страну, передав ему, Сильверсту Даниилу, все полномочия.

– Как здоровье друга моего, Антония? – неожиданно спросил Иван Васильевич, и, пока толмач переводил, Сильверст уже догадался, о чем речь, ему опять стало не по себе, подумалось, что царь действительно читает мысли находящихся рядом с ним.

Посол почтительно ответил, глядя в серые, водянистые, с красными прожилками на белках царские глаза.

– Чего от нас убежал вдруг? Будто волки за ним гнались, – захохотал, покашливая, Иван Васильевич, – или наворовал полные карманы и боялся, отберу? Тьфу на него! Хитрый вы народишко, англичане. Говорите одно, а на уме другое. Думаешь, не вижу? Насквозь я вас,

бестий, вижу! Так и знай. Вы к нам зачем едете? Хапнуть хорошо и деру дать. Как татарва крымская. А везете что взамен? Барахло, которого и у нас завались...

– Государь несправедлив, – попытался вставить слово посол, но царь только отмахнулся, делая знак толмачу, чтоб не переводил.

– Хочу, чтоб в следующий раз купцы ваши привезли селитры, пороха доброго, свинцу, меди для литья пушек. Иначе, скажи, пусть и не суются, – дождался пока Савин, тщательно подбирая слова и поджимая губы, переведет все сказанное, а посол закивал головой, выражая согласие, ткнул длинным, худым пальцем на лекаря Елисея Бомеля. – Кто таков хитрец этот? По глазам вижу – проныра. Чего заявился? Лекарь, ты говорил?

– Очень искусный лекарь, – подтвердил посол, – а еще предсказывает по звездам судьбу. Может излечить всякого...

– Пушай он моих бояр излечит, чтоб измены не мыслили, черных дум не держали, – и опять махнул Савину, – не переводи, незачем.

– Могу сказать, что великого государя ждут великие дела, – заговорил Елисей Бомель, поняв, что речь идет о нем, – я могу приготовить такие лекарства, что царь станет молод и силен. Могу...

– Ты, кабан английский, говори, да не заговаривайся, – неожиданно вспылил Иван Васильевич, – ты не Господь Бог, чтоб меня молодым сделать. Чародейство это все, а за чародейство знаешь, что положено? – и Иван Васильевич показал, как затягивается на шее воображаемая петля.

– Ноу, ноу, – запротестовал лекарь, – я лечил великих владык мира сего, и никто не сказал мне за то худого слова...

«То-то ты в Лондоне в тюремном подвале темном сидел, – чуть усмехнулся Сильверст, – за добрые дела, верно, посажен был».

Но его усмешка не укрылась от глаз Ивана Васильевича – и он, живо повернувшись к послу, спросил, упершись в него взглядом горящих, как уголья, глаз:

– Многих людей лекарь сей на тот свет отправил? Отвечай!

– Совсем нет. Государь не так меня понял, – засмутился посол, но Иван Васильевич, не слушая перевода, уже отвернулся от него и опять без смущения стал разглядывать лекаря.

– Как зовут-то? – и, когда тот повторил свое имя, как бы подвел черту, сказав: – Бомелиус, значит, по-нашенскому будет. Проверю тебя завтра же в деле. Готовь свои порошки и зелья. И про звезды, про предсказания потолкуем еще...

Дверь неслышно раскрылась – и в царские покои вошли, осторожно ступая, Иван и Федор. Так же осторожно приблизились к отцу и поцеловали его по очереди в щеку. Глаза царя увлажнились, когда он посмотрел на отошедших к окну сыновей. Иван был статен и красив, с тонкими бровями, таким же, как у него самого, орлиным носом, широк в кости, и лишь что-то неуловимо знакомое от покойницы Анастасии проглядывалось в его облике. Федор же был больше похож на мать: и кротким характером, и белизной кожи, манерой говорить, чуть нажимая на «а», и даже походку ее унаследовал. Иван и по части женского пола пошел в отца, сослав в монастырь уже двух своих жен, и так же любил пиры, охоту, бывал в пыточных застенках, сам не раз брал в руки клещи, развязывал языки изменникам. Федор же дрожал всем телом при одном упоминании о пытках и лишь раз попытался присутствовать на площади при казни, но его вынесли оттуда на руках, едва живого, с закатившимися под лоб глазами, и недели две после этого младший сын царя не мог подняться с постели.

Иван Васильевич, твердо зная, что при слабом здоровье Федора нечего и думать о наследовании трона, нимало не беспокоился о том. Старший, Иван, должен стать достойным приемником, и будет на кого оставить беспокойное государство, когда придет смертный час.

При мысли о смерти Иван Васильевич зябко передернул плечами, перекрестился и вновь уперся взглядом в заморского лекаря. Было что-то притягательное в его черных глазах, рас-

чесанных на прямой пробор волосах, спадающих на плечи, смоляных, без единой седой волосинки, хотя лекарь прожил уже верных пять десятков. Его мягкие, неторопливые движения, кошащая поступь и вкрадчивая манера говорить завораживали собеседника. Такому скажи отравить хоть отца родного – он лишь ценой поинтересуется и с благодушной улыбочкой подаст яд. В том-то и отличие русского человека от немца или англичанина, что русский мужик или добр и предан до беззаветности, или как тать черен душой до самого бездонного зла людского. Середка встречается редко. А иноземцы всегда на вид добренькие, ласковые, податливые, особенно когда дело о их выгодах заходит. Но помани кто другой, более сильный, богатый, и не вспомнят о прежнем благодетеле, переметнутся безоговорочно. И этот таков же. Но Иван Васильевич уже знал, какое применение лекарю он найдет, и, при всей неприязни к нему, решил оставить до поры при дворе.

– С чем пришли? – перевел цепкий взгляд на сыновей.

– Вот Федор порошок какой-то ищет, – насмешливо ответил Иван и чуть подтолкнул брата в спину, заставляя того выйти на середину.

– Про порошок мне говорили... – застенчиво начал Федор.

– Какой еще порошок, – тут же насторожился Иван Васильевич, – кто тебе про порошки наговорил?

– Человек один говорил, – уклончиво ответил Федор, – будто у посла английского есть такие порошки, что всех людей счастливыми могут сделать, – по всему было видно, Федор боялся отца и уже не рад был, начав разговор, да еще в присутствии посторонних, терялся, бледные щеки окрасились легким румянцем.

– Счастливыми делает... – переспросил царь, силясь понять, о чем толкует царевич. Меж тем Савин успел перевести слова Федора, и лекарь Бомелиус торопливо замахал руками, что-то залепетал по-своему.

– О чем он? – повернул голову царь к Савину.

– Говорит, есть у него такой порошок, – пожал плечами Савин.

– Так уж и есть? – не поверил Иван Васильевич и, спохватившись, тут же добавил: – Знаем мы их порошки-снадобья: до смертушки доведут, а там счастья полные штаны, радоваться успевай, святых выноси.

– Опием называется его порошок, – переводил дальше Савин, – предлагает всем отведать.

– Ладно, пускай готовит, а там поглядим, – отмахнулся царь, быстро утратив интерес к лекарю и собственным сыновьям, – завтра большое дело у нас готовится – изменников на площади казнить будем. Скажи послу и лекарю, мол, царь велит быть им поутру на площади.

– Отец, – вскрикнул Федор, услышав о казни, – ты же обещал мне...

– Что обещал?! – взвился тот. – Ну, обещал, что безвинных казнить не буду, а ежели он враг мне, то что прикажешь? Ждать, когда он меня на тот свет отправит, с трона царского спихнет?! И так я уже передал царство Симеону Бекбулатовичу, он всем заведует, а я по малости своей, по убогости лишь с послами беседы веду, о здоровье государей их справляюсь.

– Не слушай ты его, – вышел вперед царевич Иван, – по недоумию он говорит. Казнить надо врагов, чтоб другим неповадно было. Моя бы воля, – начал он, но царь привычно сдвинул брови, и Иван Иванович вмиг умолк, замер.

– Навоюешься еще. Аника-воин. Идите все. Мне с послом потолковать о тайных делах надо. – Все торопливо вышли, царь встал с кресла, взял в руки посох, с которым не расставался, и, обращаясь к Савину, приказал:

– Гляди, чтобы все, о чем говорить будем, с собой в могилу унес.

– Государь... – соскочил тот с лавки.

– Сиди, – приказал Иван Васильевич, – верю тебе, – и глянул так, что у толмача мороз по коже прошел. – Спроси-ка посла, отчего королева ничего не написала о предложении, которое я к ней делал.

Даниил Сильверст догадался, о чем пойдет речь, еще когда царь велел всем выйти вон. Наслышанный об упрямстве Ивана Васильевича, он с самого начала ждал этого вопроса.

– Королева Елизавета плохо себя чувствует, – не поднимая глаз, проговорил, – врачи не советуют ей ехать за море. У нее слабое здоровье. Она ждет московского царя к себе в Англию.

– Где это видано, чтоб жених к невесте ехал! – вспыхнул Иван Васильевич. – Да кто она такая, чтоб от моего предложения отказываться?! Под моей властью столько земель, что на пять королевен хватит. Знаем мы эти уловки! – и повторил, скривив губы: – «плохо чувствует!» К нам бы приехала, и мы бы ее тут мигом в чувства привели.

– Королева предлагает царю свою дружбу, – послу совсем не хотелось выслушивать оскорбительные нападки насчет своей королевы, которую сам же тайно обожал, хоть и не желал признаваться в том, но сейчас испытывал что-то вроде ревности к этому дряхлому московскому царю, от которого к тому же дурно пахло, и в уголках глаз виднелись капельки желтого гноя. Он бы научил его вежливости, не будь послом.

– Да куда мне ее дружбу засунуть? – продолжал кипятиться Иван Васильевич. – Дружбу со мной все государи, окромя польского, водят. Папа римский и то легатов своих шлет, тоже в дружбе уверяет. Так что, мне теперь жениться на нем, что ли?

– Королеве сообщили, что у царя уже есть жена, – попытался сделать свой выпад Сильверст.

– Кто есть? Кто у меня есть? – Иван Васильевич низко наклонился к лицу посла, и запах лука, чеснока и еще чего-то отвратительного становился невыносим. – Померли они... – царь попытался сделать скорбное выражение. – Так и передай королеве – померли! Отравлены были врагами-недругами. А те, кого за жен считают, то девки мои спальничные. Девки, и все тут, – лицо его, так и не приняв соответствующего выражения скорби, теперь выражало похотливую усмешку. – Ты коль мужик, то понимать должен. Мало ли кто при дворе моем живет. Всех их женами, что ль, называть?

– Я не знаю, – Сильверст развел руками, – но королева не уполномочила меня говорить о женитьбе.

– Ну и не говори, коль сказать нечего, – царь вдруг резко оборвал разговор, и по всему было видно, как он устал. Верно, какая-то давняя болезнь давно подтачивала его, и лишь недюжинное здоровье противилось ей, выдерживая и крутой царский нрав, и многочисленные неумеренности.

Даниил Сильверст поспешил подняться, поняв, что прием окончен, и прошептал про себя молитву, благодаря Бога за мирное окончание встречи с московским царем.

– Завтра чтоб на площади был, – напомнил царь ему уже в спину.

Тяжело ступая и не выпуская посох из рук, Иван Васильевич направился по внутреннему переходу в свои покои. Он не переставал размышлять о притворстве английской королевы, которая, с одной стороны, добивалась его расположения, заискивала, посылая ласковые письма, ища выгоды для своих купцов, скупавших русские товары по самым низким ценам и вывозивших их в Англию без всякой пошлины, но когда зашла речь о том, чтоб объединить два могучих государства и установить владычество на море и на суше, то тут она делала вид, будто не понимает, о чем речь.

«Вот славно было бы, если бы мы хвост поприжали разным там свеям, немцам и прочим замухрыжистым государям, что носы наружу повысовывали. Тут бы, глядишь, и султан турецкий присмирел, не то что паны польские...» После смерти давнего своего врага – польского короля Сигизмунда – Иван Васильевич очень надеялся, что сумеет окончательно закрепиться в Ливонии, получив долгожданный выход к морю, и сможет сам вести торговлю со всеми странами, не особо дожидаясь, пока английские или датские купцы приплывут для закупки товара по дешевым ценам, предлагая собственные втридорога.

Погруженный в раздумье, он не заметил, как из боковых покоев вышла Анна Васильчикова, что уже долгое время жила при дворе. Она была взята царем после ссылки в монастырь ее предшественницы, тоже Анны, из рода Колтовских. Царю намекнули, будто родственники ее задумали известить царя чародейством, и Анна дала на то согласие. Не раздумывая, Иван Васильевич приказал отправить ее в дальний монастырь, а всех близких родичей лишить жизни, забрав в казну их имущество. Нынешняя сожительница его, поскольку обвенчаться с ней, если бы даже захотел, царь не мог из-за несогласия церкви, которая признала лишь первых трех его жен, ныне покойных. И все же с оговорками дала согласие на четвертый брак. Но жениться на сей раз не желал и сам Иван Васильевич. Увидев раз Анну Васильчикову, которая и жила сейчас при дворе, он повелел слугам доставить ее к нему и легко сломил сопротивление неопытной девушки. Его даже забавляла ее стыдливость и неопытность, делая привлекательной, желанной. Стройное молодое тело возбуждало желание, а слезы делали страсть еще более сильной. Но слишком юна была Анна Васильчикова, и даже красота ее: волосы цвета спелой ржи, голубые глаза, щеки с детской припухлостью, умение петь – ничто не могло завлечь, удержать царя на долгий срок.

Вначале он не хотел сознаваться даже сам себе, что она прискучила ему. Все реже и реже заходил он в ее покои, не приглашал на пиры, а найдя заплаканной, закипал гневом, кричал, топал ногами. Потом, овладев ею, смирялся, утихал, но это длилось весьма недолго. Так человек, напившись, утолив жажду, быстро забывает, у какого ручья совершил то, и движется далее, пока не наткнется на очередной источник. И во дворце появилась новая царская сожительница, Василиса Мелентьева, знавшая про Анну, да и та знала о Василисе. Но царя мало интересовало внутреннее состояние женщин, их ревность и муки. Теперь он знал цену и слезам, и страданиям искусительниц рода человеческого. Мысли его были заняты более важными делами, а когда тело напоминало о себе, то он легко находил утешение, и на следующее утро мысли уносились далеко, к той единственной женщине, жившей на туманных берегах, отказавшей ему во взаимности и тем самым не только нанесшей позорное оскорбление, но ставшей источником злобы, вымещаемой на близких к царю людях.

Наткнувшись на Анну Васильчикову, протянувшую к царю тонкие руки в дорогих перстнях, подаренных ей еще в первые незабываемые дни пребывания в царских покоях, он оторопело отшатнулся, выставив вперед посох.

– Чего тебе? – спросил настороженно.

– Я ждала тебя, – просто ответила она.

– Зачем?

– Мне плохо без тебя. Я скучаю и... – чуть замялась, испугавшись чего-то, – и я боюсь.

– Чего боишься, дура? – спросил нарочито грубо, с нажимом.

– Боюсь, что забудешь меня. Боюсь умереть...

– Молись лучше, – Иван Васильевич отстранил девушку, намереваясь пройти дальше.

Но она прильнула к нему, припав щекой к плечу.

– Отпусти тогда меня домой. Страшно мне. Тебя по сколько дней не вижу.

– Вот еще. Чего тебе не живется, – в царю уже назревала вспышка гнева, но он сдержался, попытался подыскать нужные слова, – питье, кушанья тебе с моего стола несут, наряды выбери любые. Чего не живется? Любая бы только мечтала о жизни такой.

– Немужняя жена... Грех-то какой.

– Ладно о грехах-то. Еще ты мне говорить будешь. Жди, сегодня приду, – и, уже не сдерживая раздражения, с силой оттолкнул Анну к стене, торопливо зашагал дальше, не оборачиваясь.

В это время в одном из покоев дворца аптекарь Елисей Бомелиус уединился с царевичем Федором и пытался знаками что-то объяснить ему. Федор смотрел на него и согласно кивал головой.

– Если царевич примет вот этот порошок, то он будет очень счастлив, – говорил Бомелиус, протягивая царевичу небольшую серебряную ложечку, на кончике которой виднелась щепоть какого-то белого вещества. Федор наконец понял, что ему предлагается, и отстранил руку аптекаря.

– Нет, то не мне надо, а батюшке моему, боярам.

Бомелиус, не понимая причины отказа, настойчиво продолжал протягивать к нему ложечку, указывая пальцем на свой рот. Наконец царевич сдался и со вздохом взял ложечку.

– Что ж, доставлю тебе приятное, – и облизал ее.

Аптекарь кинулся в поисках воды и принес неполный ковш.

– Пить, – указал знаками. Царевич сделал и это.

– Сидеть, – Елисей подвел того к лавке, – в голове ого-го, – покрутил правой рукой в воздухе и закатил глаза. Но царевич и без того стал ощущать действие принятого лекарства и залепетал, раскрывая губы.

– О, Господи, хорошо как... Ангелов небесных вижу... Дворцы сказочные... Вон батюшка мой идет... Вон братец... Матушку вижу, она меня зовет к себе, – и заплакал, преклонив голову к стене.

Бомелиус с интересом разглядывал Федора, прикидывая, какую выгоду он сможет извлечь из завязавшейся дружбы с ним. Впрочем, он тоже понимал, как и многие при дворе, что Федор слаб здоровьем и особых привилегий или наград у него не выхлопотать. Но лекарь привык наклоняться и подбирать за свою долгую жизнь даже не нужные на первый взгляд вещи. А царевич – это тебе ни какой-нибудь купец с улицы. Кто его знает, как дело обернется. И он осторожно вышел из покоев, оставив Федора в сладком забытии.

Иван Васильевич велел кликнуть кравчего Бориса Годунова, который после гибели своего тестя Малюты Скуратова незаметно стал едва ли не самым близким царевым человеком. С рассудительным Борисом царь просиживал подолгу, обсуждая многие дела, готовя посольства и военные походы. Годунов знал о всех царских слабостях и умел подсластить любую самую горькую пилюлю, смягчили печальные известия из Ливонии, чтобы ободрить царя. Он же как бы ненароком, указывал ему то на одну, то на другую глазастую красавицу, когда им случилось вместе ездить по столице или посещать дома именитых людей. Потом, как бы невзначай, девица оказывалась в царских покоях, а что делать с ней дальше, царя не нужно было учить. Одно плохо – пил Борис мало, а Иван Васильевич опасался трезвенников, памятуя изречение древних: непьющий за общим столом – или обманщик, или предатель. Борис же ссылался на плохое действие на него хмельного питья, (если и случилось ему принять чарку, другую, то на следующий день появлялся опухший, угрюмый), и царь махнул на этот его едва ли не единственный недостаток. Может, и лучше, когда среди подгулявших гостей кто-то будет с чистой головой.

Борис Федорович вошел, мягко ступая, и поклонился низко, до самого пола. От дальнего предка своего, мурзы татарского Чета, сохранил он смуглость лица, выдвинутые скулы и зауженные к вискам глаза. Взяв в жены дочь Малюты Скуратова, Марию Григорьевну, сумел избежать сам и родственников уберечь в опричные времена от расправы и подозрений в измене. За Малютиной широкой спиной легко было укрыться. Порой Иван Васильевич думал, что, не будь Бориса Годунова, он не знал бы, с кем посоветоваться, кому поручить сложное дело. Вот и сейчас Годунов должен был обсказать ему о своей встрече с лазутчиками, прибывшими из Польши.

– Что болтают про дела польские? – начал Иван Васильевич, не отвечая на приветствие и не предлагая сесть.

– Болтают, что войне быть большой, – со вздохом произнес Борис Федорович, – король их новый, Баторий, обещал Москву взять.

– Ха! Он пусть лучше о своих землях печется. Москву захотел! Это мы еще поглядим...

– Войско набирает. Сейм деньги немалые выделил, – коротко сообщал Годунов, стоя у стола.

– Били мы панов, били, а все им мало. Уж ихнюю панскую спесь нипочем не выбьешь, пока башку с него не сымешь. Сам как думаешь?

– Думаю, не шутит король Баторий. Им без Ливонии никак нельзя. Кинутся отвоевывать.

– Да... – Иван Васильевич поскреб поредевшую за последний год бороду. – Кинутся, говоришь? А мы на что? Надо тоже войско готовить. Где только людей набрать? Казна у нас нынче совсем пустая.

– А почему нам казаков воровских с Дону, с Волги на службу не пригласить? Сила там немалая скопилась, народишко лихой. Крымчакам проходу не дают, ногайцев в узде держат. Глядишь, и панам чубину укоротят.

– Пошли к ним кого-нибудь, – согласился Иван Васильевич, чуть подумав, – отпиши, мол, царь приглашает в поход, и жалование пообещай доброе. Понял? Есть такой человек, кто бы добрался до них без промедления?

– Есть, государь. Князь Федор Барятинский.

– Знаю молодца. Его и пошли.

В это время в светелку, где обычно уединялись царь с Годуновым, пошатываясь, вошел царевич Федор. Глаза его блуждали, и было не понять, видит ли кого перед собой или не различает совсем. Иван Васильевич, не скрывая удивления, повернулся к младшему сыну, спросив тихо:

– Феденька, что с тобой? Не заболел ли?

– Мне хорошо, батюшка, – засмеялся тот, – очень хорошо. Я с матушкой виделся, и она просила передать, что любит тебя, и просила не забывать о ней.

– Да что с ним? – царь вскочил, взял сына за руку.

– Тебе, батюшка, тоже надобно порошок попробовать, что мне лекарь дал. Велю сказать, пусть принесет. Ты сразу добрым станешь.

– Сыскать мерзавца! – топнул ногой Иван Васильевич.

Годунов выскочил стремглав, не прикрыв за собой дверь. Когда он вернулся, то был совершенно спокоен и сказал царю как о чем-то постороннем:

– Мои люди займутся им.

Царь недоверчиво глянул на кравчего, но промолчал.

Блаженство наследующих

Жарким было лето, когда гордые поляки избрали наконец короля Речи Посполитой. После смерти Сигизмунда Августа множество претендентов явилось в державу польскую. Был среди них и брат французского короля – Генрих, занявший было престол, но не знавший ни языка польского, ни обычаев, бежавший обратно в Париж после смерти брата своего и трон французский принявший. Был и Максимилиан – император австрийский. Был и царь московский Иван Васильевич, пожелавший отправить младшего сына Федора воздеть на себя корону польскую и объединить затем две великие славянские державы. Но долги были сборы московские, долги хлопоты, а всех опередил венгерский князь Стефан Баторий, что по первому зову явился в Краков и быстрехонько короновался, оставив с носом и государя московского, и императора германского, и многим другим желающим кукиш показал.

Король польский Стефан Баторий ехал в сопровождении малой охраны из мадьяр к своему замку под Краковом. Он любил ездить верхом, поскольку не так в глаза бросался и рост малый его, и хромота не очень заметна. Еще в детстве пытались украсть его разбойники и продать туркам, приковав на цепь за левую ногу, держали в лесной сторожке. Но сумел Стефан освободиться, сбить цепь, а рана осталась и не заживала до конца дней его. Да еще в юности начались и припадки, после чего впадал он в безумие и не помнил всего, им в те минуты содеянного. Женщины припадочного Стефана не любили, да и он их не особо жаловал. Придворные и то пугались дикого взгляда короля Батория и маленьких, глубоко посаженных глаз на скуластом лице. Верно, правду говорили, будто предки его пришли с далеких северных земель, где едят сырое мясо, запивая кровью звериной. И может, в силу этих древних традиций новый польский король велел всех бродяг и разбойников на дорогах ловить и в котлы с кипящей водой бросать, а мясо охотничьим собакам скармливать.

Изначально поляки хотели женить французского принца Генриха на дочери покойного короля Сигизмунда, да тот, глянув на невесту, которой в ту пору уже полсотни лет накатило, в смущение великое пришел, отнекивался как мог от брака, а потом и вовсе бежал, оставив Анну Ягеллонку и дальше проживать в девичестве. Стефан Баторий и глазом не моргнул, пойдя под венец с невестой на десять лет его старше. Она тут же уехала в Варшаву, а он остался в Кракове, где, впрочем, редко бывал, занятый приготовлениями к войне с московским царем.

Баторий, погруженный в свои думы, не отвечал на приветствия крестьян, снимавших шапки за полсотни шагов и стоявших так, пока он не проедет. Сейчас он думал о том, как избавиться от назойливого Самуила Зборовского, что отчасти помог ему на выборах, но теперь вместе с братом Христофором требовал слишком больших льгот для своего дома. Баторий считал себя солдатом и жизнь вел простую, неустроенную. Разбалованные и разнеженные поляки чуть ли не смеялись ему в лицо, видя незатейливую одежду своего короля, и шутили, что надобно выделить из казны кое-какие средства и приодеть его, а то трудно пастуха отличить от государя великой державы. Но он все терпел до поры до времени, хорошо, впрочем, помня и обиды, и усмешки ясновельможных панов.

Единственным человеком, которого он отличил сразу и выделил из прочих, был шляхтич Ян Замойский. Они изъяснялись на латыни, поскольку король еще плохо знал язык своих подданных. Такие, как Замойский, не обремененные отцовским наследством и высокими титулами, сразу почувствовали в новом короле близкого человека, потянулись к нему, предложили свои шпаги. И он принял с благодарностью молодых шляхтичей, поставив тех на самые важные посты.

Первое, что Баторий сделал после коронации, – отправил грамоты соседним государям, заверяя их в своей любви и дружбе. Те не замедлили прислать ответные послания, поздравив его с коронацией и восшествием на польский престол. Не было только грамоты от московского

царя Ивана. А вскоре верные люди передали Баторию, что тот перед послами иностранными насмехался над ним и даже слова бранные говорил о его предках, не признавая Батория равным себе, а сравнивая со своими дворянами, служившими при русском царе на посылках. Нет, Баторий ничем не выдал гнева, но запомнил те слова надолго и поклялся отомстить москвитам за неслыханную дерзость, за бесчестие свое, с тех пор и начал подумывать, как проучить тех, отобрав и землю Ливонскую, и те города, что они успели у короля Сигизмунда отвоевать. Он не любил долгих сборов, но к войне готовился тщательно, стараясь предусмотреть любую мелочь, от одежды для своих гусар и до запаса подков для их лошадей. И, заняв в сейме солидную сумму золотых, нанял несколько полков из немцев, шведов и своих земляков-мадьяр. Они-то и объяснят московскому зазнайке Ивану, чье происхождение выше. Может, тогда он поймет, что острая шпага и хороший мушкет уравнивают и короля, и простого солдата. Бог дарует победу не за звание, а за доблесть.

Приехав в замок, он тут же велел позвать своего любимца Замойского, и когда тот вошел, Баторий, не отвечая на приветствие, знаком указал ему на громадную карту, придавленную к столу двумя пистолетами.

– Как считает пан, с чего мы начнем наши военные действия против москвитов?

Замойский чуть наморщил лоб, отчего его красивое лицо приобрело грустное выражение, и, подумав, ответил:

– Их армии готовы вновь вторгнуться в Ливонию, а заняв ее, будут угрожать и нашей безопасности.

– Согласен с паном. Я думаю так же, – коротко, как всегда согласился Баторий, – но я вижу, пана что-то смущает.

– Да, – на этот раз без раздумий ответил тот, – черкасские казаки. Они обнаглели до того, что держат в страхе целые воеводства, заставляют наших шляхтичей отдавать им задаром скот, оружие. Тех, кто отказывается, увозят к себе и берут потом баснословный выкуп с родственников. На них нет никакой управы.

– Повесим каждого второго. Четвертуем. Посадим на кол, но заставим вести себя, как должно подданным, и не возмущать спокойствия. Кого мы можем отправить на их обуздание?

– Ходкевича или Сапегу, – поскреб чисто выбритый подбородок Замойский, – они храбрые воины и... мои добрые знакомые.

– Пусть будет так. Напиши им от моего имени и вели прибыть в Краков в ближайшее время.

– Слушаюсь, мой государь. Но у меня есть сомнения...

– Говори. Мне нужно знать все. Я не хочу, чтоб потом выяснилось то, что можно было предвидеть сегодня.

– Казаки сдерживают крымского хана и турок. Если мы уничтожим половину из них, то кто станет защищать наши границы от иноверцев?

– И это легко решить. Тех казаков, что пожелают встать на государственную службу, мы поставим на казенное довольствие, оставив их жить, где и жили ранее. И к тому же я собираюсь отправить большое посольство к турецкому султану, чтобы заключить с ним перемирие на десять лет. Тогда у нас будут развязаны руки для войны с Москвой, и мы не будем бояться удара в спину. Насколько мне известно, турецкий султан будет весьма нам признателен, если мы укоротим жадные руки царя Ивана. Судя по тому, сколько людей он казнил в Московии, там скоро некому будет взять в руки саблю...

– И казни продолжаются, – поспешил вставить слово Замойский.

– Еще я думаю, – согласно кивнул головой король, – москвиты не любят воевать в чистом поле. Обычно они залазят на стены крепостей, наглухо закрывают ворота и лишь тогда обретают храбрость.

– Это так.

– Мы воспользуемся их слабостью и заставим драться в открытом поле. Многие крепости в Ливонии уже разрушены. К тому же мной приказано отлить побольше осадных орудий. Думаю, через два, самое большее через три года мои солдаты войдут в Москву.

Замойский с интересом посмотрел на своего короля, которого увидел совершенно по-новому. Даже его малый рост стал не столь заметен, глаза блестели, мысли, высказываемые им, были верны и четки. Перед ним стоял решительный, полный сил человек, и так ли важно, какого он происхождения. Ведь и сам Замойский вышел из незнатного шляхетского рода, и все его состояние вполне умещалось в обычном походном сундуке. Он так же, как и Баторий, не любил бородатых москвитов, неопрятных в одежде, превозносивших свою веру превыше других. Оставаясь католиком, Баторий водил дружбу и с гугенотами-протестантами, охотно принимая их на службу. В то же время он привлек на свою сторону отцов-иезуитов, которые открывали по всей стране школы и выдворяли из храмов православных священников. Нет, с таким королем Польша воистину станет великой державой!

– Итак, панове, готовь большое посольство к турецкому султану и воевод для усмирения казаков.

– Давно нет известий от наших послов, что выехали к шведскому королю.

– От них я жду хороших известий.

– Объявлять ли о войне с Московией?

– Немного подождем, когда войска будут полностью готовы. Об этом сообщить всегда успеем.

В дверь постучали – и в комнату вошел запыленный гонец, держа в вытянутой руке грамоту с большой красной печатью на шнурке. Баторий торопливо принял ее, вскрыл, прочел вслух:

– Император Максимилиан находится при смерти, – и со вздохом, перекрестившись, добавил: – и тут Господь за нас.

* * *

Престарелый Девлет-Гирей все лето провел в Бахчисарае, не предприняв даже слабых попыток пойти в очередной набег на Русь. Тяжелая болезнь изнуряла его одряхлевшее тело и не позволяла подолгу оставаться в седле. Теперь он заходил в свой гарем, по праву считавшийся одним из лучших среди многих владык, лишь для того, чтоб полюбоваться юными созданиями, все с тем же постоянством привозимыми к нему со всех концов света. Он подходил к новой девушке, трепетавшей уже при одном его приближении, гладил ее шелковистую кожу, проводил рукой по выпуклостям груди, безошибочно определяя, девственницу ли ему привезли, и... с тяжким вздохом шел дальше. Девушки томились в безделье и ожидании, когда же их поведут в покои своего господина. Но проходил день за днем, на их половине появлялись мрачные евнухи, придиричиво оглядывая наложниц, тонкими бабьими голосами отдавали распоряжения и вновь исчезали. Хан Крыма не желал тратить силы на любовные забавы, проводя все время в саду с сыновьями и визириями.

Он знал, дни его сочтены, и понимал, что не сделал всего того, о чем мечтал в молодости. А как велики были те мечты! Царь Иван трепетал в своем дворце, когда сотни нукеров Девлет-Гирея пересекали границы его владений. Сколько городов и малых селений он покорил, разрушил! Сама Москва лежала у его ног, застланная дымом пожарищ. Тогда он написал царю гневное письмо, обвинив его в трусости, потребовал посадить своего сына Адыл-Гирея в Казани, увести стрельцов из Астрахани. Иначе... клинки его нукеров обратят в прах полки москвитов.

Царь Иван откупился богатыми дарами, но Казань не уступил. И король литовский, и хан ногайский просили помощи у Девлет-Гирея, присылали гонцов, богатые поминки, надеясь

с его помощью разбить полки московитов. Но что могут дать нищие литовцы? Присылаемые раз в десять лет дары не прокормят доблестных ханских воинов, которым совсем не хочется подставлять свои головы под тяжелые московские топоры. А разве можно верить ногайскому хану, что сегодня обещает дружбу навек, а завтра нападает на его улусы, грабит его людей? Нет, друзья даются один раз и на всю жизнь, и лишь когда казаки попржиали ногаев, те сразу вспомнили о дружбе с Крымом.

Но труднее всего давалась Девлет-Гирею дружба с турецким султаном, который видел в нем не столько друга, сколько своего подданного. Султан требовал отбить у русских Астрахань, отогнать казаков с его владений, регулярно присылать рабов и наложниц. Какая же это дружба, когда один приказывает, а другой и возразить не смеет?

По-настоящему испугался крымский хан, когда султан Селим решил сам взять Астрахань, чтоб по морю с персами воевать. Войско, им отправленное, могло поглотить все запасы его ханской казны. Янычары требовали свежего мяса, вина, женщин, лошадей, повозки. И отказать он не смел. Выполнял все требования ненасытных своих друзей. Но больше всего он боялся, что янычары возьмут Астрахань и обоснуются там. Русские, те хоть в Крым не лезут, а турки, чего доброго, и его, хана, в море спихнут, и сами править начнут, переустраивать все по-своему. Хвала Аллаху, испугались они долгой зимы, вернулись обратно и больше в его владения не совались. Надолго ли...

Девлет-Гирей сидел на мраморной скамье в тенистом саду, перед ним нежно журчал фонтанчик, отдавая влажную прохладу струй, навевая грустные мысли и воспоминания. Хану доложили о прибытии московского посла Афанасия Нагой, который почти ежедневно навещал его, ведя длительные переговоры и привозя каждый раз с собой поминки от московского государя. Хан хотел пойти во дворец, но решил, что и здесь, в саду, тоже его покои, и какая разница, где вести беседу с послом, лишь бы она завершилась удачно, велел пригласить Нагой в сад.

Афанасий Нагой уже с начала весны жил в Бахчисарае, неоднократно встречался с ханом, склоняя того на подписание длительного мира с царем, но тот в последний момент уперся из-за пустяка: требовал увеличить размер поминок-даров, обещаемых ему Иваном Васильевичем. Было смешно и противно слушать, как хан торгуется из-за каждого халата, серебряного блюда, мешка зерна. С одной стороны, Нагой понимал, что затягивание переговоров выгодно для Руси. Значит, нынешним летом татары уже не нападут, не выйдут из Крыма. С другой стороны, осточертело жить в чужой стране, вести торг, как на базаре, хорошо помня при том, скольких несговорчивых русских послов до него татары бросили в темницу, лишили жизни, надругались, обобрали до нитки, выгоняли обратно ни с чем. Но царь наказал без мира не возвращаться и вести торг хоть год, хоть десять лет, но мир заключить.

– Как здоровье достопочтенного хана? – спросил Нагой, слегка поклонившись. Даже кланяться ханские визири требовали от него по своему разумению – доставать рукой до земли. Едва отбился от них, объясняя, мол, так только в церкви русский человек кланяется Господу Богу. А хан, хоть и называет себя наместником Аллаха на земле, но не Бог еще. Вскоре и совсем забыли про поклоны, лишь о подарках и напоминали.

– Благодарю, – сведя морщины вокруг узких глаз, улыбнулся Девлет-Гирей, – здоровье наше в руках Аллаха. Садись вон туда, – указал на маленькую скамеечку, стоявшую под деревом. Афанасий глянул на нее и понял, что хан хочет хотя бы таким способом унижить его, и, гордо вскинув голову, ответил с достоинством:

– Не пристало мне, посланцу царя московского, сидеть на детской скамеечке. Вышел я из того возраста.

– Да ты, Афанасий, никак обиделся? – притворно всплеснул руками хан и хлопнул в ладоши, велел выросшему как из-под земли рабу принести кресло для гостя.

– Вот это другое дело, – проговорил Нагой, надежно усаживаясь, и приказал толмачу, исполнявшему роль писца, подать из походного сундучка бумаги.

– Согласен ли ты, Афанасий, обещать мне, что поминки, братом моим Иваном посылаемые, будут теми же, что и отец его посылал хану нашему Махмет-Гирею?

– Как я могу за царя отвечать, – улыбнулся Нагой, – у царя своя голова на плечах. Все ему передам как есть, а решать ему.

– Царь хочет мир со мной подписать?

– Давно хочет, да только ты, хан, не соглашаешься.

– Как же я могу согласиться, когда Казань у царя Ивана, брата моего, просил? Просил. Астрахань просил? Просил, – хан начал загибать свои морщинистые пальцы, поднося их близко к глазам, – а царь Иван мне что ответил?

– Царь наш, Иван Васильевич, отвечал, мол, как можно города те отдать, когда там в посадах и по селам давно церкви православные поставлены и русские люди живут. Татарам же даны поместья и службы в землях новгородской, псковской, московской, тверской. А в Казанской земле поставлены семь городов: на Свияге, на Чебоксаре, на Суре, на Алатыре, на Курмыше, – как по писаному начал перечислять посол, но хан замахал руками, показывая нежелание слушать дальше.

– Вон сколько у брата моего Ивана городов! А он?! Двух городов пожалел. Ай-яй-яй, – совсем по-русски закончил хан.

– Мал золотник, да дорог, – усмехнулся Нагой.

– Говорили мне, будто бы царь Иван жадный, да я не верил. А какой город он вздумал ставить на Тереке? Он мое разрешение на то спросил?

Нагой, затаив усмешку в озорно блеснувших глазах, оправил русую бороду, с достоинством ответил:

– А как же! Он сына твоего хотел в Касимов-город на княжение посадить? Хотел, да хан отказался. Жену ему из нашенских предлагал? Хан не пустил сына жениться. Зато черкесский царь Темрюк дочь свою царю нашему в жены отдал, сыновей отпустил, а царь наш, Иван Васильевич, за то в помощь ему и крепость для обороны ставит. Разве он у тебя, хан, согласия дружить не спрашивал? А ты до сих пор судишь-рядишь, с кем дружить, с кем в мире жить... и решить не можешь.

– Так ведь мне, бедному, как иначе? Кто больше предложит – тот мне и друг, – чисто-сердечно признался Девлет-Гирей.

– Вот-вот. А ногайцы тебе что дали? А султан турецкий?

– И они дружбу предлагают. И хан бухарский, и хан сибирский – все дружбы моей ищут.

При последних словах Нагой насторожился. До него уже давно доходили сведения, будто из Бухары вместе с караванами к крымскому хану шлют грамоты, в которых предлагают соединить усилия всех мусульманских государей и вернуть обратно и Казань, и Астрахань, потеснить Москву, мечтают о временах Батыева нашествия.

– Как же насчет поминок, – вернул его к своим заботам Девлет-Гирей, – хочу те, что при Махмет-Гирее были назначены. Так и отпиши царю своему. Иначе не бывать миру меж нами.

Афанасию надоело торговаться, и он решил немного остудить боевой задор крымского правителя, напомнить о его действительном положении. Прошли те времена, когда Русь боялась татарских полчищ. Не усмотрели те, как буквально под носом у Крыма возникла немалая сила, называемая казаками.

– Хан, верно, знает, что на Дону, на Волге живут люди, что казаками себя прозывают? Сколь их там обитается, и мы того не ведаем. Сила их столь велика, что хан ногайский слезно к царю нашему писал, жалился на них. А вдруг да казаки те на Крым пойти похотят? Тогда как?

– Не бывать тому, – презрительно усмехнулся Девлет-Гирей, – всякий сброд, казаки какие-то не посмеют напасть на мое ханство.

– Еще как посмеют, – поднял предупредительно руку Афанасий Нагой, – только тогда пусть ваши послы не стучатся в двери царского дворца, не просят о помощи.

– Зачем такие нехорошие слова говоришь? – хитро сощурился крымский хан, хорошо понимая, что русский посол не зря напомнил ему о казаках, которые последнее время начали регулярно тревожить его аулы, каждый раз все ближе подбираясь к границам ханства. Много уже жалоб получил он от беков и мурз, чьи табуны были угнаны невесть откуда налетающими никому ранее не известными воинами. Урон, конечно, был от них небольшой, но укус даже маленького комара в больное место всегда ощущаешь болезненно, и даже раздавив зловредное насекомое, долго чешешь оставшуюся после него ранку. И сейчас посол задел ту самую болячку, которая последнее время не давала покоя крымскому хану. – Мы хотим в мире жить с нашим братом, царем московским, а просим его всего лишь о такой малости.

– Малости? – переспросил Нагой. – Астрахань и Казань – малость? Что же тогда будет большим для хана?

– Аллах с ними, с городами, – пренебрежительно отмахнулся Девлет-Гирей, – хлопот с ними не оберешься, с городами теми. Пушай ими брат наш московский владеет, коль они ему так нужны. У меня и здесь дел полно, – и он тяжело вздохнул, давая понять, как нелегко ему приходится в собственном дворце. – Троим сыновьям недавно обрезание делали, четырех дочек замуж собирать надо, а денег в казне нет, пусто. А все почему? Потому что на Москву давно не ходили мои нукеры, не привозили мне десятую часть от взятого в набеge. И царь московский поминонок не шлет.

– Сколь надо? – обыденно, словно они находились на базаре, спросил Нагой.

– Две тыщи рублей надо, – выдохнул доверительно в лицо послу Гирей и добавил, – золотом.

– Как скоро нужны деньги? – поинтересовался Нагой.

– Ой, да хоть завтра, – обрадовался крымский правитель, и глаза его ласково заблестели, – в вечном мире с братом моим московским жить будем.

– Я напишу моему государю, – проговорил Афанасий Нагой, вставая, – но пока гонец до Москвы доскачет, пока его там примут, обратно вернется...

– Ждать стану, время терпит, – торопливо закивал головой Девлет-Гирей, – приходи сегодня ко мне ужинать, когда гонца в Москву отправишь.

– Хорошо, – согласился Нагой, – сегодня и направлю, но ужинать, извини, хан, прийти не могу, свой повар у меня готовит. Нынче ведь пост Успенский, а ты, поди, сызнава барашка молодого к столу подашь.

– Для дорогого гостя ничего не жалко, – осклабился крымский правитель, – но как знаешь, неволить не буду.

– Поди радуешься, что одним едоком меньше будет, – буркнул про себя Нагой, уже выходя из дворца и с неприязнью глянув на стражников, что буквально ели его глазами, ожидая обычной подачи. – Фиг вам, – проговорил по-русски, надеясь, что те не поймут его слов.

Через два месяца из Москвы вернулся гонец и привез всего двести золотых, которые Иван Васильевич поручал послу вручить хану. Девлет-Гирей несказанно обрадовался этой подачке, словно позабыл, что просил в десять раз больше. В грамоте к Афанасию Нагому государь писал: «Отдай крымскому хану наши деньги, что под рукой оказались, а буде он еще поминонок несурзных требовать, то припомни ему, что деньги и все злато земное есть тлен, которые с собой на небеса взять не можно...» Посол счел лучшим не сообщать о тех царских словах обидчивому Девлет-Гирею и через две недели, окончательно удостоверившись, что крымчаки не собираются готовить очередной набег на Москву, благополучно выехал из Бахчисарая.

Блаженство юности

Последние несколько лет Зайла-Сузге жила в Бухаре при дворце Амар-хана, доводившего дальним родственником правителю страны Абдулле-хану. При ней был и сын ее Сейдяк, который стал к тому времени статным юношей и уже дважды ходил в походы на кочевья Хакк-Назара, проявив при том удаль и отвагу.

Порой ей не верилось, что она не наложница, не скрывается по лесам от головорезов, не мчится верхом по степи, спасаясь от преследователей, не прячется на окраине Бухары, а живет свободно и открыто у друга отца. Верно говорят восточные мудрецы: человек должен долго, очень долго страдать, прежде чем счастье чуть-чуть улыбнется ему и протянет благодать на мизинце. А ведь все произошло почти случайно. Но разве есть в этом мире что-то случайное? Разве человек не ищет тот случай, не выбирает себе путь и не идет по нему? А счастье – это лишь заветный оазис в конце пути.

Раз в неделю, когда на бухарских базарах появлялись дехкане из окрестных кишлаков, привозившие на небольших повозках овощи, свежее мясо, и цены были самыми низкими, она отправлялась обменять или продать сшитые за неделю вещи. Ей помогала соседская девочка, дочь лудильщика Зухра, с родителями которой она дружила и в особо трудные времена могла попросить взаймы ложку масла, горсть муки, пучок лука. Зухре шел уже одиннадцатый год, и родители поговаривали, что пора бы выдавать ее замуж за юношу, с которым она с детства была обручена. Когда Зайла-Сузге спрашивала о ее женихе, девочка краснела и убегала в соседнюю комнатку, откуда выходила нескоро с гордо задранным носиком и оттопыренной верхней губой.

– Любит ли тебя твой жених? – пыталась разговорить девочку Зайла-Сузге.

– Не знаю, ата. Но он обещал быть хорошим мужем и не наказывать меня. Сейчас они с родителями готовят калым, и как только соберут его, то приедут свататься.

– Да за что же тебя наказывать? – всплескивала руками Зайла-Сузге. – Ты такая послушная, такая красивая, все умеешь делать.

От этих слов Зухра лишь краснела, и рука с иглой начинала бегать еще быстрее, а головка склонялась ниже к шитью. Однажды она отважилась спросить:

– А Сейдяк тоже обручен с кем-нибудь? У него есть невеста в Сибири?

– Нет, – грустно ответила Зайла-Сузге, – когда мы бежали оттуда, не было и времени подумать об обручении. А здесь... Я думаю, рано говорить Сейдяку о свадьбе. Еще не известно, как все повернется.

– Что повернется? – не отставала Зухра, и по ее заинтересованности легко было понять девичий интерес к молодому парню, ее ровеснику, с которым она виделась почти каждый день.

Зайле-Сузге нравилась быстрая и исполнительная Зухра, и она была бы не прочь видеть ее своей невесткой. Но она хорошо понимала, что не вправе распоряжаться судьбой своего сына, и не от нее зависело, как сложатся дальнейшие события. Все же он законный наследник сибирского престола и, войдя в лета, став мужчиной, сам должен выбрать себе место в этом мире.

Сейдяк обращался с Зухрой как с сестрой, ничем не выделяя ее среди других девочек, живущих поблизости. Но Зайла-Сузге опытным материнским взглядом, а больше сердцем угадывала влечение сына к робкой, застенчивой Зухре.

«Но разве пара дочь простого медника, что целыми днями лудит на своем дворе медные кувшины и тазы, ее сыну, чей род восходит к потомкам великого Чингиза? – размышляла она. – Не будут ли они оба несчастны, если соединят свои судьбы? У ее сына невеста должна соответствовать его положению. Вряд ли он станет таким же лудильщиком или красильщиком шерсти. Нет, он воин и должен унаследовать то, что принадлежит ему по праву рождения.

Как лудильщик унаследовал инструменты своего отца, а красильщик – чаны, пастух – седло и стада, дехканин – кусок обработанной земли, так и ее сын должен стать наследником земли своего отца».

Теплыми вечерами, сидя в небольшом садике за домом, она изредка заводила с сыном разговор о Сибири, о ее непроходимых лесах, могучих реках, рассказывала о Бек-Булате, Едигире. Сейдяк слушал с интересом и лишь потом, когда она умолкала, осторожно спрашивал, чувствуя, сколь болезненны для матери эти воспоминания:

- А когда я вырасту, то мы вернемся в Сибирь?
- Обязательно, сынок, – отвечала она, глядя его черную голову с большим вихром на лбу.
- И у меня будут свои нукеры?
- Конечно, будут...
- И я, как отец, буду ханом той земли?
- Если Аллах позволит, то обязательно будешь.
- Скорей бы мне стать большим, – вздыхал Сейдяк.

Мухамед-Кул за все эти годы лишь раз приезжал в Бухару, разыскал их, долго разглядывал племянника, который не подошел к нему, а, прижавшись к матери, бросал на приезжего настороженные взгляды. Но когда Мухамед-Кул достал из привезенных им подарков маленький кинжал, оправленный в узорчатое серебро, и привесил на пояс мальчику, он оживился и попросил разрешения взобраться в седло, взял в руки поводья и ударил маленькими пятками в конские бока.

– Воин! Настоящий воин! Он еще покажет себя! – восхищенно воскликнул Мухамед-Кул, глядя сбоку на племянника.

Зайла-Сузге вздохнула и ничего не ответила. Ей было страшно за сына, за его будущее, которое не предвещало легкого пути.

Мухамед-Кул торопливо перекусил с ними, рассказал, что Кучум выделил ему свой улус в верхнем течении Иртыша, и в Бухару он приехал, чтоб набрать воинов для своей, своей собственной, сотни.

- Как поживает мой брат? – осторожно спросила Зайла-Сузге. – Здоров ли? Как его дети?
- О, у хана уже четверо взрослых сыновей, и еще пятеро мальчиков бегают по Кашлыку. Алей, самый старший, настоящий богатырь! Уже сам несколько раз водил сотни в походы.
- Хан все воюет? – грустно усмехнулась Зайла-Сузге.
- Конечно. И я ходил на усмирение бунтовщиков, потеснил соседей, показал им нашу силу. Да зачем женщине знать о войне? – высокомерно обронил он. – Женское дело – рожать детей.

– Ты очень изменился, – Зайла-Сузге больше не задавала вопросов, а ушла к себе, принялась за шитье.

Поиграв некоторое время с Сейдяком, Мухамед-Кул простился. А она поняла, что вряд ли еще когда-нибудь он приедет к ним. Он стал мужчиной, воином, и для него женщина – всего лишь женщина.

– Да, чуть не забыл, – протянул он перед уходом большой сверток, – старый рыбак просил передать.

– Назис? Помнит меня? – воскликнула Зайла-Сузге, развязывая сверток, в котором лежали несколько вяленых огромных рыб. – Спасибо ему. Не за рыбу, хотя и за нее тоже, а что помнит меня. Передашь?

– Передам, если встречу, – небрежно ответил Мухамед-Кул и выехал со двора.

Долго еще грусть не покидала ее после отъезда человека, что спас ее когда-то, вырвал из Девичьего городка, помог добраться до Бухары, а теперь... теперь у него своя жизнь, в которой для нее просто нет места.

«А в чьей жизни есть для меня место? Кому-нибудь я нужна?! – горестно спрашивала она себя. – В чем я провинилась, что должна жить в одиночестве, всеми забытая?» И не находила ответа. Изредка она навещала престарелую Анибу, с которой делилась своими горестями, единственного человека, кому могла выплакаться, рассказать обо всем и услышать в ответ заботливое, ласковое слово участия. Единственный близкий человек в этом городе... Пусть она не могла ничем помочь, но для женщины порой сочувствие гораздо важнее всего остального. И еще, к чему призывала ее Аниба, – смириться и ждать. Ждать без ропота на свою судьбу, жить, как и она прожила свою долгую жизнь. И, глядя на старую слепую женщину, Зайла-Сузге понимала, что это и есть ее единственный путь – покориться и ждать.

...Она была удивлена, когда в тот день на базаре к ней неожиданно подошел высокий воин с черными пронзительными глазами и негромко произнес:

– Тебя хочет видеть один человек, пойдем со мной, – и молча указал на высокую повозку, закрытую сверху пологом от солнца и любопытных глаз, в которую была запряжена пара красавцев-коней.

– Кто он? Что ему надо? – Зайла-Сузге испугалась и схватила за руку Зухру, стоявшую рядом, понимая, что друзей в городе у нее нет, а значит... Если не друзья, то враги. Только они могли найти ее. Но зачем она им? Ах, им нужен Сейдяк, как она сразу не сообразила... И тихо шепнула девочке, застывшей как и она в испуге: – Беги домой и уведи Сейдяка к соседям, спрячь его.

– Госпожа зря волнуется, – воин провел рукой, украшенной дорогим перстнем, по темно-каштановой бороде, – тебе не причинят зла.

– Но кому я понадобилась, несчастная и одинокая женщина?

– Тебе все объяснят. Это друг.

– Но у меня нет друзей, – Зайла-Сузге обернулась. Вокруг них уже начали собираться любопытные, прислушиваясь к разговору. Может, броситься в толпу, укрыться, бежать... Но если ее выследили теперь, то выследят и в другой раз. Нет, это не поможет. Она должна смириться, как учит ее Аниба, и вынести очередное испытание. Увидев краешком глаза, что Зухра уже мчится к воротам рынка, свернула свое нераспроданное шитье, взяла его под мышку и смело шагнула к повозке.

– Разреши помочь тебе, – подставил сильную руку незнакомец и посадил ее в повозку, заботливо одернул полог и скомандовал сидевшему спереди вознице, – пошел, – сам запрыгнув легко на стоявшего невдалеке скакуна.

Зайла-Сузге внимательно следила через небольшую щель меж занавесками, куда ее везут. Выехав с базара, они поехали по направлению к главной городской мечети, затем повернули налево, оставили в стороне дворец бухарского правителя, повернули еще раз и вдоль небольшого арыка стали подниматься в гору меж роскошных садов и виноградников. Вскоре повозка остановилась у высокой белой стены, и Зайла-Сузге поняла, что они приехали. Открылись крепкие деревянные ворота, возле которых стояли два воина с саблями на боку, и они въехали в тенистый, обсаженный высокими туковыми деревьями двор. Посреди его сразу бросился в глаза бассейн, выложенный плитками розового мрамора. От бассейна в разные стороны вели ступени. Судя по всему, то был дворец весьма состоятельного человека, и это еще больше насторожило испуганную женщину. Взглянув на плотно закрывшиеся за ними ворота, она мысленно попрощалась с сыном, Зухрой, Анибой.

– Наш господин ждет тебя, – послышался голос незнакомца, протягивающего ей руку.

Взойдя по мраморным ступеням, покрытым толстым ковром, она поразилась убранству помещения, куда ее ввели: высокие узкие окна под потолком пропускали немного света, но отделанные камнем стены, оружие, висевшее на них, ковры, в которых тонула нога почти по самую щиколотку, – все сияло яркими красками, блестело, переливалось и вызывало восхищение. Она не решалась пройти на середину комнаты и стояла у самого входа, зажав в смущении

нии узелок с шитьем, который был просто неуместен среди окружающего великолепия. Воин, сопровождавший ее, скрылся в боковом проеме и больше не показывался. Зато явилась тонкая в талии девушка, одетая в легкие шальвары и цветастый халатик, облегающий ее грациозную фигурку, и поставила на низкий столик поднос с двумя пиалами, меж которыми стояло блюдо, синееющее росистыми гроздьями винограда, желтела горкой сладкая халва, темнели дольки щербета. Но Зайла-Сузге все еще пребывала в напряжении и думала, что столь богатые угощения поданы неспроста. Так всегда подманивают птицу, прежде чем накрыть ее плотной сетью, посадить в клетку.

Она не заметила, когда к столику, слегка сутулясь, приблизился невысокого роста мужчина с седой бородой и чуть навывкате глазами. Остановился напротив нее и мягко проговорил:

– Прошу простить, что не смог сам пригласить госпожу посетить мой дом. Я редко показываюсь на людях с тех пор, как отравленная стрела отняла у меня руку. Не хочу показывать свое уродство, – просто пояснил он.

Только тут Зайла-Сузге заметила пустой правый рукав халата, заткнутый за широкий белый пояс. В фигуре хозяина дома была неуловимая осанка человека, привыкшего повелевать, держался он с достоинством, но без высокомерия.

– Прошу сесть, отведать угощения, и я объясню, по какой причине пригласил тебя к себе, – он сделал знак левой рукой, указывая на место подле столика, подождал, пока Зайла-Сузге сядет, а потом опустился напротив нее. Она при этом постаралась спрятать под себя узелок с шитьем, испытывая от того неловкость. Хозяин хоть наверняка и заметил ее поспешное движение, но не показал вида. – Прежде всего я должен назвать себя, – продолжал он, – меня зовут Амар-хан, и я долгое время служил начальником стражи при дворе хана Абдуллы. Еще там я случайно услышал, что в городе появилась женщина с малолетним сыном и что она... – он, чуть помолчав, сверля ее взглядом пытливых глаз, закончил, – что она дочь хана Муртазы, да земля ему будет пухом.

– Вы знали моего отца, – не сдержалась Зайла-Сузге, – вижу, что знали. Да?

– Я начинал свою службу совсем юношей при его дворе. И я хорошо помню и твоих братьев, и маленькую Зайлу. Ведь так тебя зовут?

– Да, – качнула она головой, и робкая слезинка упала на колено.

– Я помню, как сокрушался хан, когда разбойники похитили его дочь. Потом я узнал, будто тебя увезли в далекую Сибирь, но ничем не мог помочь. Извини. Вижу, верно, нелегко пришлось на чужбине?

Зайла-Сузге не отвечала, едва сдерживая душившие ее слезы. Она была готова ко всему: к угрозам, насилию, к потере свободы, но встретить столь теплый и дружеский прием она просто не ожидала.

– Я была замужем за очень хорошим человеком. Но он мертв. Со мной его сын. Он законный наследник Сибирского ханства, сын Бек-Булата.

– Вот как? – заинтересованно проговорил Амар-хан. – а я думал, что это все глупые выдумки, будто в Бухаре живет наследник Сибирского ханства. Знаешь, – обратился он, чуть понизив голос, – у меня три жены, и по нашим законам я мог бы взять четвертую и дать твоему сыну свое имя, часть того, что имею. Но я не знаю, как отнесется к этому дочь Муртазы. Предлагаю тебе подумать над моим предложением. А сейчас я представлю тебе своих сыновей. Надеюсь, что еще сегодня ты переберешься вместе с сыном ко мне в дом, где вам будет оказан достойный прием. И пусть твои руки забудут о шитье, недостойном тебя, – он громко хлопнул в ладоши, и в комнату вошли трое юношей, что, верно, ждали рядом.

Амар-хан поднялся с улыбкой, озарившей его сосредоточенное до этого лицо, подошел к ним.

– Этот старший – Сакрай, средний – Гумер и младший – Сафар. Они будут братьями для твоего мальчика. Вы слышите, дети мои? – юноши согласно кивнули головами, заинтересованно рассматривая Зайлу-Сузге.

В тот же вечер она перебралась в дом к Амар-хану, и Сейдяк действительно вскоре подружился с его сыновьями, с младшим из которых, Сафаром, оказался ровесником. Зайлу-Сузге не обременяли работой по дому, где постоянно суетилось два десятка слуг, она была вольна выходить из дворца, когда ей заблагорассудится. Но она так ничего и не ответила на предложение гостеприимного Амар-хана стать его женой, а он и не напоминал ей об этом. Но каждый раз при встрече она словно читала по его глазам, что он не забыл о своем предложении.

Так прошла зима, а весной ее Сейдяк ушел в свой первый поход вместе с сыновьями Амар-хана. Вернулся он только к концу лета, повзрослевший, загорелый до черноты, и вбежал в ее комнату в пыльных одеждах, бросился на шею, расцеловал и совсем по-детски, как когда-то, положил голову на плечо, заглянул в глаза, спросил:

– Ты боялась за меня, мама? Скажи, знаю, что боялась, переживала.

– Еще как, но теперь ты вернулся живой и здоровый и не скоро отправишься в новый поход. Ведь так?

Он кивнул, но по мелькнувшей в глазах хитринке поняла, он чего-то недоговаривает.

Вскоре он был приглашен вместе с сыновьями Амар-хана во дворец бухарского правителя и вернулся оттуда гордый, что был представлен всем знатным молодым людям, собравшимся во дворце.

– Надеюсь, ты никому не говорил о своем происхождении? – недоверчиво спросила Зайла-Сузге. У них был уговор с Амар-ханом, и сына она просила пока не открываться кому бы то ни было о его принадлежности к роду Тайбугинов. Она не столько головой, сколько сердцем понимала, что именно в этом таится главная опасность. Сейдяк покачал головой, успокоил ее. Но она знала, что вечно так продолжаться не будет и когда-то откроется, кто он и какого рода. Но хотелось, чтоб это случилось как можно позже, чтоб они дольше оставались рядом, вместе.

Следующей весной Сейдяк ушел в очередной поход на нагрянувшего из степей Хакк-Назара. Через неделю его привез слуга Амар-хана с раной в плече. Он недолго пролежал дома, дождался, пока рана затянулась, и со смехом вспоминал, как неловко увернулся от копья и уже раненый зарубил наскочившего на него степняка. А через день опять умчался догонять своих друзей.

И так повторялось каждую весну. Но лето прошлого года выдалось мирным. Бухарские земли не было нужды защищать от врагов, и Сейдяк подолгу пропадал на охоте, ездил с сыновьями Амар-хана к родственникам по соседним селениям. А однажды, когда лето пошло на убыль, объявил, что дал согласие сопровождать купцов и паломников, отправляющихся в Мекку. Что-то кольнуло в груди у Зайлы-Сузге, но она лишь вымученно улыбнулась, посчитав, что Аллах защитит ее сына, коль он собрался совершить хадж к святым местам. Она проводила его, но ни паломники, ни купцы не вернулись обратно ни зимой, ни через год. И только теперь она заметила, что половина волос у нее стали седыми.

Блаженство жаждущих

Нечасто приходила радость за последние годы в Кашлык, но именно нынешним летом Кучум полной грудью ощутил непередаваемое и неповторимое чувство, подобное опьянению от хорошего вина. Два дня назад вернулись сваты, посланные к властелину ногайского народа хану Тай-Ахмату. Они привезли его дочь Файрузу, что должна стать второй женой ханского сына Алея. Калым, который Кучум отправил за нее, составил большую часть собранной за год дани со всего ханства. На него можно было нанять пару сотен отборных воинов, но родство с Тай-Ахматом стоило большего. Его владения простирались до порубежья с русским царем Иваном, а Кучум пока не оставил мыслей, в которых видел себя главным ханом и верховным правителем всех мусульманских владык, что скоро поднимутся против русского засилья. Кто как не он может объединить и повести всех ханов от Барабы до Волги на борьбу против Москвы? Он, и только он, способен на такой шаг. И возраст, и опыт, и происхождение позволяли ему стать верховным ханом.

Не успели закрыться ворота Кашлыка за свадебной процессией, как следом прибыли сваты от родственника хана Тай-Ахмата, Ак-мурзы, что просил руку дочери Кучума, красавицы Рабиги. А почему и нет, если привезенный калым почти полностью покрывал отправленное за Файрузу? Правда, льет слезы старшая жена его Самбула, сидит, забившись в угол, Рабига, но рано или поздно девочке придется выйти замуж, так почему не сделать это сейчас? Долгие сборы – лишние слезы. Нет, отпраздновав свадьбу Алея, он тут же прикажет собирать в дальний путь Рабигу. А пока пусть поплачет, попрощается с матерью, с братьями и сестрами, последний раз спустится с высокого ханского холма к Иртышу, окунется в его мутные воды. У всех женщин похожая судьба, не избежать ее и Рабиге.

Алей же ходил по городку, обрядившись в новый халат, сопровождаемый насмешками младших братьев. Извещенные о предстоящей свадьбе, прибывали многочисленные гости из числа соседей и подвластных Кучуму мурзабеков. Явился еще более потолстевший Соуз-хан, прибыл тесть Кучума, хан Ангиш, поддерживаемый за руки двумя нукерами, с многочисленными сыновьями и внуками. С поздравлениями подошли Кутай-бек и Шигали-хан, привезли дары от хана Немына, сын которого, Муран, так и жил в аманатах в Кашлыке вместе с другими заложниками, которых Кучум считал за лучшее держать подле себя. Приготовления к свадьбе шли полным ходом. Не было только Карача-бека, отправившегося в дальние улусы вместе с шейхом Шербети для приведения в истинную веру скрывающихся в лесах племен чебургинцев.

После неудачного весеннего похода на карагайцев Кучум решил избрать другую тактику – направил в очередной раз прибывших из Ургенча шейхов увещевать бунтовщиков. Чего не могли сделать силой его нукеры, то должны были выполнить силой убеждения проповедники. Прошедший год был неурожайным: ушел зверь, не было ягод, не уродились кедровые орехи, плохо ловилась рыба. Может, потому и взбунтовались карагайцы, а вслед за ними отказались нести дань пугливые чебургинцы, ушли на дальние недоступные озера топкинбашцы, выражали недовольствие тевризцы и туранцы, ответили отказом молчаливые тавдинцы, убили сборщиков дани вогульцы, затаились люди хана Немына. Нет, саблей здесь ничего не добиться. Казнив даже каждого второго, он потеряет ровно половину собираемой с них дани. Пусть лучше шейхи расскажут им о страшных небесных карах, что ждут человека после смерти, пусть расскажут о победах правоверных по всей земле, пусть заставят сжечь деревянных истуканов и отвернуться от своих шаманов, которые и есть главные бунтовщики, зачинщики всех выступлений против хана Сибири. А Карача-бек должен найти общий язык с князьями и беками, пообещать им высокие должности при дворе.

Алей видел издали, как в городок въехала свадебная процессия, где на носилках несли невесту, тщательно скрывавшую лицо от взглядов посторонних. Не скоро он увидит ее лицо

– ровно через тридцать дней после свадьбы, как и положено по законам шариата. И первую жену для него, Хабису, отец ездил выбирать сам, а вернувшись, приказал готовиться к свадьбе. В отдельном шатре гуляли мужчины, а в другом – женщины и родственники, оплакивающие невесту. Потом ее увезли на месяц в Девичий городок...

То была первая в его жизни женщина, и он хорошо помнит, как трепетал, изнывал в преддверии брачной ночи. Когда подруги ввели девушку уже с расплетенными косами, в полупрозрачной накидке и со смехом запахнули полы шатра, он растерялся. И она стояла, дрожа всем телом, хрупкая, маленькая, и не решалась сделать шага к нему. Тогда, вспомнив рассказы старых нукеров, он протянул левую ногу в мягком сапожке и молча кивнул головой. Она все поняла и принялась с видимым усилием стягивать сапог с ноги, тяжело дыша, уперев подошву в худенькую грудь, стараясь угодить мужу.

– Пусти, – сказал он нарочито грубо и, вырвав ногу, сам скинул сапог, но она уцепилась за второй, пытаясь доказать свое умение. И он уступил ее настойчивости, терпеливо дождался, пока ее попытки не увенчались успехом, криво улыбнулся и начал снимать с себя халат. Затем схватил ее за руку, притянул к себе, сбросил накидку и жадно впился глазами в ее лицо...

Он до сих пор помнит и, верно, долго будет помнить ее глаза. В них были только страх и покорность. Широко раскрытые глаза и полураскрытый рот, вздрагивающий подбородок, прижатые к груди руки.

– Боишься меня? – спросил, стараясь говорить мягче, но хриплый голос выдал его напряженность. Мог бы и не спрашивать, и так видел, боится.

– Нет, – ответила и замотала головой, пытаясь улыбнуться, но улыбка получилась вымученной.

– Ложись, – приказал, указывая на лежанку. Девушка сделала два шага и остановилась, повернула голову к нему – и столько мольбы, страха было в ее глазах, что понял: если сейчас не пересилит себя, не совершит то, что должен сделать мужчина, потеряет себя самого не только в супружеской жизни, но в гораздо большем. Как дикий зверь когда-то первый раз, не выдержав человеческого взгляда и опустив голову, приблизился к протянутой руке, принял подачку, а потом до конца жизни оставался рабом, исполняя его желания, покорно служа ему, оставаясь преданным уже не за еду, а из боязни в другой раз пережить унижение. Так и он теперь не должен быть покорным, а во что бы то ни стало переломить себя. И ощутив вспышку гнева, злобы, неистовства, даже сам удивился, увидев в своей руке зажатый хлыст.

– Кому сказал! – заорал, не помня себя, и ударил Хабису несколько раз подряд, все больше зверея от власти и вседозволенности.

Она упала не столько от ударов, сколько от неожиданности, от окончательно напугавших ее криков и безумных глаз того, кого должна называть отныне своим мужем, поползла, пряча лицо и вздрагивая от сыплющихся ударов, натянула на себя меховое покрывало и что-то кричала, пытаясь противопоставить свой крик его воплям.

И тогда, отбросив хлыст, он упал, обрушился на нее, выставя вперед обе руки, настиг, навалился, зажал зубами открытый рот, разорвал одежды и вдавил, вжал, распластался на ней, не сразу заметив ее закатившиеся под взбровья глаза и неподвижность тела. Хлопнул раз, другой открытой ладонью по щекам, но она не приходила в сознание, дыхания почти не было слышно, и только тонкая голубенькая жилка билась на тонкой смуглой шее.

Испугался ли он тогда, что Хабиса может умереть? Он не помнил. Посчитал девичьей слабостью и плеснул в лицо воду из кувшина. Потом уже не спеша разделся и легко взял ее, так и не пришедшую в сознание. А удовлетворив первое желание, встал, накинул халат и крикнул, выйдя из шатра, служанку. Та разохалась, хлопоча над Хабисой, что-то приговаривала, причитала, но он не слушал. Ушел в шатер к друзьям, напился и под утро вернулся обратно, опять овладел ею, уснул, несколько раз просыпался и, не спрашивая согласия, не говоря, молча овла-

девал снова и снова, кусая шею, заламывая руки, ударяясь головой в маленькую грудь, пока не обессилел и не уснул окончательно, пробудившись лишь в полдень.

Только через год он научился ласкать жену, уже родившую к тому времени их первого ребенка, девочку, научился понимать ее ласки, позволяя доводить себя до безумия, до иступления, до провалов в памяти, до жаркой волны забытья. Но ее широко раскрытые глаза, наполненные страхом, ужасом той первой ночи, так и жили рядом все эти годы.

Теперь он знал: через тридцать дней встретившись с Файрузой все в том же шатре, он поведет себя иначе и, скорее всего, просто уснет, заставив ее просидеть рядом всю ночь, а потом осторожно притянет к себе, положит рядом и... От сладостных видений горячая волна пронеслась по телу, прилила к голове, и он, круто повернувшись, зашагал к реке, чтоб охладиться там под порывами слабого ветерка.

И хотя Алея занимали мысли о предстоящей свадьбе, но не шел из головы и последний разговор с Карача-беком, который тот начал в присутствии Шербети-шейха, выбрав день, когда отец уехал на столь любимую им соколиную охоту. Тут же крутился коротышка Халик, что прислуживал им.

Шербети-шейх, высокий и прямой старик с твердым взглядом и редко улыбающимися глазами, как бы невзначай обронил:

– В Ургенче интересуются планами будущего наследника Сибирского ханства. Будет ли он так же привержен учению пророка Мухаммеда, как и его отец?

Карача-бек испытующе глянул на Алея, которого вопрос шейха застал врасплох, и попытался помочь ему:

– Молодой царевич будет, надеюсь, достойным продолжателем дела хана Кучума.

– Конечно, – кивнул тот.

– А не хотел бы патша-улы попросить у отца улус, достойный его высокого положения? – мягко продолжал Шербети-шейх. – У Мухамед-Кула улус намного больше твоего. У тебя всего лишь несколько стариков да десятков воинов, а твой двоюродный брат нанял в Бухаре отборную сотню, и подданных у него больше в два раза. Ясак хороший берет с них, верно, и хан не знает его доходов.

Алей вспыхнул. Он давно уже замечал высокомерие Мухамед-Кула, когда разговаривал с ним. И одевался тот не в пример богаче его. Один конь под ним стоил целого табуна, что пасется на отцовских пастбищах. Но, сдержавшись, нашел достойный ответ:

– Нам с братьями перейдет все, а он... без нашей помощи не сможет удержать и десятой доли того, что даровано моим отцом.

– Все так, уважаемый патша-улы, но если бы ты попросил отца отдать в твое владение старую сибирскую столицу, Чимги-Туру, то мы могли бы оказать тебе посильную помощь.

– И в чем? – взметнулись тонкие брови Алея.

– Дали бы тебе не сотню, а две, три сотни отборных воинов, чтоб они железной рукой насаждали истинную веру, боролись с идолопоклонниками. Тогда в своих деяниях ты превзойдешь отца, хана Кучума.

– Истинно так, – кивнул Карача-бек.

– Почему вам не поговорить об этом с ханом? – Алей удивлялся все больше и поглядывал то на Шербети-шейха, то на Карача-бека.

– Хан слишком занят своими делами. Я бы сказал, он... – шейх замялся, подбирая слова, и при этом вынужден был улыбнуться. Алея поразила его улыбка, обнажившая хорошо сохранившиеся, почти как у юноши, зубы. «То опасный человек. Очень опасный», – мелькнуло в голове. – Я бы сказал, что хан Кучум мягок к своим подданным. Заботясь о сборе ясака, он забывает о вере и вспоминает о ней, лишь когда это ему выгодно.

– А надо выбирать что-то одно, – поддержал шейха Карача-бек, – или веру, или богатство.

– Он построил слишком мало мечетей, а может, просто не разрешает бекам строить их...

– Но это неправда! – воскликнул Алей. – Я сам слышал не раз, как он увещевал беков и мурз строить мечети, совершать службу, приглашать муллу в свои селения. Что делать, если сами беки поклоняются двум богам?

– Ты можешь назвать их? – Шербети-шейх впился в него взглядом.

– Да хотя бы... – начал Алей и осекся, закончил с неохотой, – многие...

– Я вижу, царевич боится назвать имена нечестивцев. Да, а мы надеялись на твою помощь.

– Я готов помочь, но не желаю быть доносчиком, – Алей гордо вскинул голову, но понял, что в любом случае проиграет в споре с хитрым стариком, умеющим все повернуть в нужном ему направлении.

– Хорошо, хорошо, – успокаивающе поднял тот руку, – нам и без того известно, кто готов принять веру пророка, а кто пребывает в заблуждении. Но нам бы хотелось видеть царевича владельцем старой столицы, – как бы подвел итог разговору Шербети-шейх.

Кучум был удивлен, когда старший сын, после его возвращения с охоты, неожиданно завел разговор о свадебном подарке – старом городке Чимги-Тура.

– Да там же одни развалины и почти никто не живет, – пытался вразумить Алея, который стоял перед ним, набычив голову. Тут же находились и другие сыновья, внимательно слушавшие их. – Это одно из самых опасных мест. Все, кто приходит с войной из степи, должны овладеть тем городком. Ты еще неопытен и молод...

– А почему у Мухамед-Кула в несколько раз больше улус, нежели ты выделил мне?

– Погляди на братьев, – Кучум старался не терять спокойствия, хотя слова старшего сына его обижали, – вот Ишим, вот Алтанай, вот Абдур-Хаим, Асманак, Мамыш и Яныш, – повел рукой в сторону двух близнецов, что были всегда неразлучны, – скоро придет время и им выделять свои собственные улусы. Если я все отдам тебе, то что останется им?

– Я не прошу всего. Почему ты не хочешь отдать мне Чимги-Туру, коль говоришь, будто это захудалый городок и самый опасный?

– Потому и не хочу! – вспылил Кучум. – У меня другие планы, и не пришло пока время говорить о них. Все! – и он торопливо вышел наружу, боясь не справиться с накапливающим гневом внутри.

«Нет, определенно, – думал он, вышагивая вдоль обрыва и всматриваясь в дальний иртышский берег, – кто-то подговорил Алея просить именно Чимги-Туру, а не другой городок. Кто научил его? Зачем они хотят поссорить отца с сыном? Зачем?»

Впрочем, он понимал, откуда дует ветер. Шербети-шейх во время своего последнего приезда недвусмысленно намекнул, что в Бухаре и Ургенче недовольны тем, как медленно идет обращение сибирцев в праведную веру. Если кто-то из его князей, беков и строил у себя мечеть, то по году не казал глаз в нее, оправдываясь то болезнью, как хитрющий Соуз-хан, то занятостью военными делами. Знал он об этом, знал, но ничего не мог поделать. Притупилась его воля, направленная на переустройство сибирской земли. За долгие годы, проведенные здесь, чего он добился? Подчинения? Да, если против одного сибирца было двое наемников из его сотен. Понимания? Да, если дело касалось снижения ясака. Взаимности? Да, если он отпускал князей из Кашлыка в их улусы, где те пропадали по году и больше, избегали участия в походах, не подвергали свою драгоценную жизнь смертельной опасности быть убитыми в бою. Симпатии? Да, если отпускал аманата-заложника под небольшой выкуп в свое селение, после чего тот пропадал, уезжал, скрывался. Боялись ли они его? Тут он мог ответить себе однозначно – да. Ему не раз передавали слухи, будто бы обладал он сверхъестественной силой, умением обращаться в зверя, насылая порчу и лишая людей воли. Они будут бояться его до тех пор, пока не явится кто-то другой, более сильный. Так малый зверь боится большого, но дряхлый, обессиленный волк не страшен никому. Нет, он не даст усомниться в своей силе. Пусть не ждут, не надеются.

На свадьбе сына Кучум сидел мрачный, не отвечая на хвалебные речи, которые больше произносились в его честь, нежели в честь жениха. Невеселым оставался и Алей, памятуя отказ отца насчет Чимги-Туры. Если бы он знал, что Кучум метит его на место Мухамед-Кула, сделать главным башлыком, бессменным во всех походах! Если бы он мог посвятить старшего сына в свои планы, в которых и сам-то себе боялся признаться! Уже этой осенью он хотел направить Алея в набег с большим войском на русские городки за Уралом. Пришла пора провести их силу, узнать, могут ли они выдержать длительную осаду, каковы их силы, оружие, сколько воинов стоит на стенах. Но пока рано сыну знать об этом. Пусть повеселится, погуляет на свадьбе, а потом... потом он посвятит его в свои планы.

Кучума удивило отсутствие на свадьбе Мухамед-Кула. Верно, обиделся на неприезд Кучума на его свадьбу, что играли прошлым летом, и теперь решил ответить тем же. Ладно, поймет еще, что нельзя кусать руку, кормящую тебя. Поймет... Только поздно бы не было.

Веселил всех Халик-коротышка, смешно прыгая меж сидящих гостей, наставляя им незаметно рога, выхватывая лучшие куски, выливая за шиворот вино, дергая за бороды. Старики не обижались, а молодые парни пугали коротышку длинными ножами. Осмелился Халик скорчить рожу и Кучуму, вскрикнув при этом:

– Наш хан сегодня хмурый сидит, верно, жалко сыну хорошую девку отдавать. Ничего, не жалею, себе еще найдешь. Вон их сколько у тебя. Подарил бы хоть мне одну. Подаришь?

– Пошел вон, дурак, – пнул его под зад Кучум. Тот упал прямо головой в котел с пловом, заверещал от боли.

Когда уж под утро Кучум слегка навеселе возвращался в свой шатер, возле уха просвистел кинжал и воткнулся в землю чуть впереди него.

Блаженство алчущих

Братья Яков и Григорий Аникитичи Строгановы, старшие в роду после смерти отца, возвратившись из Москвы, решили собрать всех родственников у себя в городке. Требовали того новости, привезенные ими из стольного города. Собственно, и собираться нужно было им двоим да младшему брату Семену, да сыну старшего Якова – Максиму, которому шел двадцатый год, но ходил он еще под отцом и дела своего не завел.

Послали человека за Семеном – и к вечеру второго дня тот уже входил в горницу улыбочивый и просветленный радостью встречи. Все три брата, воспринявшие после смерти Аникиты Федоровича огромное и беспокойное хозяйство, выбрали каждый себе по городку и жили в дружбе: вели совместно торговлю, совместно же оборонялись от наскакивающих едва не каждый год вогульцев. Правда, последние два года набегов не бывало, но караульщики все так же исправно день в день несли службу на дозорных вышках, держали наготове пороховое зелье, чинили сгнившие острожные стены, зная: не успокоятся их соседи и непременно нагрянут в урочный час попытать свое разбойное счастье.

Семен Аникитич троекратно перекрестился на образа и лишь после обнялся с братьями, внимательно оглядел каждого, пошел к племяннику Максиму, у которого уже пробивалась рыжеватая борода и легкий некогда пушок под носом начинал походить на настоящие усы.

– О, каков, – шутливо хлопнув его по плечу, притянул к себе, но, почувствовав сопротивление, отпустил, – да у тебя и силищи поприбавилось... Гляди-ка...

– Силы много, да ума чуть, – поддразнил наследника Яков Аникитич.

– Не скажи, не скажи, – не выпуская руку племянника из своей, Семен продолжал рассматривать того, словно увидел, открыл в нем что-то новое. Хотя между дядей и племянником существовала разница всего в десять лет, но Семен был давно уже хозяином сам себе, а Максим жил под зорким отцовским оком, и прежде чем сделать что-то, должен был испросить разрешения у отца, человека нрава крутого, не терпящего ни в чем не то что возражений, а даже косой взгляд домашних мог привести его в бешенство. Характером он пошел в отца, да и другие братья были своенравны и упрямые. Единственный человек, кого побаивался Яков Аникитич, была его супруга Евфимия из дворянского рода Охлопковых, что просватал ему отец через своего стародавнего друга Алексея Басманова. Ходила она по дому всегда в черном платке, не снимая его после гибели своего первенца, и была главной советчицей и управительницей по дому, не раз предостерегала Якова от шагов необдуманных, оберегала детей от отцовского гнева. Не могла только простить себе, что недоглядела за бойкой дочерью Аннушкой, которую совратил иуда-приказчик. Тот-то сбежал ночью тайком, а дочь прознавший про грех Яков Аникитич всенародно, при людях дворовых, осрамил, оттащил за волосы и выгнал за ворота. Сгинула девка с тех пор и неведомо куда делась. Может, медведь задавил, может, сибирцы в полон угнали. Ходила Евфимия, не убоясь принять греха на душу, к бабке-ворожее. Наворожила-нагадала та, будто бы жива доченька и, Бог даст, свидятся когда. Да что утешения в том, коль не может обнять доченьку, с внучатами помянчиться.

Видать, и Яков Аникитич казнил себя, мучился за горячность, и хоть вида не показывал, а седина в бороде сама за себя говорила, руки ходуном ходить начали, как у старика древнего. Вот и поди пойми их, Строгановых: то добры, ласковы, словно ангелы небесные, то хуже зверя дикого. Такой, видно, нрав, наследие от предков получили, вынесли.

Сказывал отец еще, будто бы вышел род их из ханов Золотой Орды, перешедших к князьям московским на службу. И будто бы татары, поймавши перебежчика того, с живого кожу с мясом ножичками до костей сняли, сострогали. За что и зовутся с тех самых пор Строгановыми... Так ли, нет ли, но служили князьям московским справно, заслуги многие имели, за

что и вотчины в Пермской необжитой земле получили, от сборов-податей освобождены царем были.

Григорий Аникитич на год брата помладше, но такой же кряжистый, ухватистый и на расправу скорый. Дети у него, правда, все слабыми рождались и через год-другой помирали от болезни непонятной, а прошлым летом и жену Ирину в землю опустил, угасшую раньше времени. Остался при нем единственный сын Никита, которому двенадцать годиков минуло, но уже помощник в отцовских делах, по варницам вместе разъезжают. Будет на кого хозяйство оставить, земли наследные переписать. Вот и сегодня при отце Никитушка тут же в сторонке стоит, на дядю Семена поглядывает, ждет, когда его черед поздороваться придет.

– А моего и замечать не хочешь, – наконец не выдержал Григорий Аникитич и указал Семену на сына, что исподлобья поглядывал на взрослых, испытывая неловкость от своего малолетства.

– Ой, прости, племянничек, – воскликнул тот, – как же я мог не заметить такого мужика?! Да я тебе даже и подарочек припас. Где это он у меня, – засунул руку в суму, что постоянно возил с собой. Братья шутили даже: мол, не золото ли он там таскает и сроду не расстается с драгоценной заношенной, затертой до дыр сумой, что впору калике-страннику иметь. Семен отшучивался, не разубеждал братьев, но ни разу не показал содержимого заветной котомки. Порывшись, извлек разноцветного петушка-свистульку и, приложившись, дунул пару раз, извлекая тонкий переливчатый свист. – Вот мастеровой у меня один наладился делать. Взял у него, думаю, свезу племяшу, порадую, – и протянул петушка Никите.

– Не стану я свистеть в него, – отпихнул тот дядькину руку, заговорив ломким юношеским баском.

– Это отчего же? – удивился Семен Аникитич. – Не угодил, выходит? Не по нраву петушок пришелся?

– Чего я... малец какой, что ли, – набычился Никита. – Пущай свистит, кто желает, а я не буду.

Семен Аникитич озадаченно поскреб в затылке, подбросил свистульку вверх, поймал, поставил на стол.

– Ладно, – сказал миролюбиво и без обиды, – вырос, значит, коль от игрушек отказываешься. Кому другому подарю...

Своих детей у него не было. Да не только детей, но и женой все не мог обзавестись за хлопотами, пребывая в вечных разъездах, ночуя то на варнице, то в мужичьей избе. Правда, поговаривали, что девок при дворе своем держал Семен круглых да гладких, одна к одной. С ними и в баню хаживал, и гулянки закатывал. Но братья старшие не лезли с расспросами: мол, у него своя жизнь, ему и решать, как на том свете ответ держать станет, а тут и своих забот хватает. Семен, в отличие от старших братьев, кряжистых и малорослых, похожих один на другого, как грибы-боровички, был на голову выше их, голубоглаз, тонок в поясе, быстр в движениях и привык сызмальства все решать по-своему, не споря, но и не уступая. И если Яков с Григорием обустроивались в своих землях всерьез, надолго, то Семен набирал ватажников на варницы лишь на лето, а по первым холодам расплачивался с ними, распуская и забираясь в лесную глухомань с верным слугой, где охотничал, промышлял зверя, выбираясь к жилью лишь по талому снегу.

Отец, перед уходом в монастырь, оставил все на старшего Якова, а тот указал братьям на варницы, прикинув, чтоб было по-честному, предложил вести хозяйство совместно, но рабочих и дворовых людей поделить поровну. Григорий согласился, а Семен, отмолчавшись, как обычно, уехал к себе, где и раньше проживал, и теперь наезжал лишь по приглашению братьев, когда случалось решать дела, требующие присутствия всех Строгановых.

– Сперва угощения отведаем, что хозяйка моя сготовила, или о делах поговорим? – спросил на правах хозяина дома Яков Аникитич. Все переглянулись, пожав плечами, предоставив

хозяину решать по своему усмотрению порядок встречи, и он, поскребывая косматую бороду, мигнул появившейся в дверях Евфимии Федоровне, указал гостям на лавки вдоль стен.

– Тогда потолкуем без посторонних ушей, а потом уж и откушаем, коль хозяйка на стол подаст.

– Давай поговорим, потолкуем, – Григорий Аникитич первым, чуть прихрамывая, заковылял к лавке, сделав знак Никите, чтоб садился с краю от взрослых, – пушай и мой посидит, послушает, о чем взрослые речь ведут. Глядишь, на пользу пойдет...

– Пушай посидит, коль скучно не станет, – повел кустистыми бровями Яков Аникитич, – а скучно быть не должно. Интересные новости с Москвы привезли, – он занял свое место в центре под образами, Григорий Аникитич сел от него по правую руку, Семен уместился на краешке лавки напротив, а Максим и Никита сели чуть в сторонке, ерзая на узкой скамье.

– Ты грамоту царскую достань, достань, – засуетился Григорий Аникитич, бросая взгляды на небольшой ларец, стоявший на лавке подле старшего брата.

– Придет время, достану, – обрезал тот, – хочу сперва о делах московских всем рассказать. А дела там такие, что не приведи Господь. Казни чуть не каждый божий день. Прогневался царь Иван Васильевич на бояр своих и лютует крепко...

Семен открыто зевнул, не спеша перекрестил рот, давая понять, что ему нет дела до тех казней, своих забот по горло.

– Ты пожди, Семка, зевать, пожди. Назеваешься еще, как обо всем услышишь, – налился моментально гневом Яков Аникитич, но, кашлянув в кулак, справился с собой и продолжал уже спокойнее, – а дело наше худое...

– Чего, и нас казнить приказал? – насмешливо спросил Семен. – Так чего он вас обратно отпустил? Может, сюда палачей пришлет? Так они нас не скоро сыщут. Леса кругом темные, непроходимые.

– Тьфу на тебя, паршивца, – не сдержался Яков Аникитич, – ты дашь слово сказать? Хватит юродствовать! Дело наше тем худо, что отец наш освобождение от податей выхлопотал когда еще, а теперь срок выходит. Скоро по полной мере платить начнем. Пробовали мы с Григорием лазейку к царю найти, чтоб новую отсрочку выхлопотать, срок продлить, да не вышло. Так что думать надо, как быть...

– Как быть, как быть, – передразнил его Семен, – платить надо. Вот как быть. Ты у нас старший, вот и думай. Голова-то эвон какая.

– Я уж давно все продумал, в уме прикинул и в Москве нашел нужного человека, пока ты здесь по лесам гоняешь, за девками ухлестываешь...

– А тебе кто мешает, – вполголоса проговорил Семен, но брат не расслышал его и продолжал, самодовольно оттопырив нижнюю губу.

– Вызнали мы, что при царе первый его советчик ныне Годунов Борис Федорович. Как царь всех бояр и ближних людей порешил, то он, почитай, один и остался. Батюшку нашего покойного, царство ему небесное, он, говорят, неплохо знал. Вот и шепнули мне, мол, встретись, перетолкуй с Борисом Годуновым. Он все с полуслова понимает, через него и к царю попасть можно. Ну, встретились мы, перетолковали... Твердо он мне ничего не пообещал, но одно сказал: мол, царю доложит, какие мы от разбойных набегов людишек сибирских убытки несем, как нынче соль добывать нелегко стало, головой рискуя каждый день. Обо всем и порассказал ему, как есть. – Яков Аникитич остановился, перевел дух, придвинул к себе ковш с квасом, сделал несколько больших глотков, утер бороду рукавом и, отдышавшись, продолжал. – Написал я грамотку, чтоб он ее царю передал при случае. Через неделю от него человек приходит. Просит к себе пожаловать Борис Федорович...

– Мы и поехали, – наконец вставил свое слово Григорий Аникитич, до того томившийся от своей задвинутости рядом со старшим братом.

– И поехали, – повысил голос Строганов-старший. – Приезжаем, а хоромы у него... Не хуже царских...

Семен опять зевнул, глянул на племянников, которые, в отличие от него, слушали, открыв рты, и поглядел в потолок. Ему были скучны напыщенные речи старшего брата, старавшегося показать значимость и старшинство над остальными. Начал разглядывать старинные образа, привезенные еще отцом и потемневшие от времени. Слова Якова долетали издалека, утрачивая смысл и значение...

...Царь повелел... Мы просили кланяться... Отблагодарил боярина... Строить крепости... Соль дорожает... Ливония...

Наконец Строганов-старший, который и речь держал больше для Семена, придвинул к себе ларец и вынул из него длинный свиток с темно-красной печатью величиной с ладонь, развернул его на столе, ткнул пальцем, зачитал вслух нужное место, из чего выходило, что царь дарует им земли и по Иртышу, и по Туре, и по Оби, чтоб они строили там городки, собирали ясак с татар и вогульцев и везли прямехонько к нему в казну.

«Вот пусть сам и строит, и ясак собирает, – зло подумал Семен, – чужими руками жар загребать всяк горазд. А как те городки построить да потом в руках удержать, то он не говорит. Дарует! Да как туда сунешься, когда за каждым деревом по татарину с саблей?»

– Что скажешь, Семен? – вывел его из задумчивости голос старшего брата.

– А то и скажу, что хан Кучумка нас и здесь теснит, а потащимся на Иртыш, на Туру – можно панихиду хоть завтра заказывать. У него там войско сидит, а у нас что?

– Да... Просто так к Кучумке тому не сунешься. Он всех князьков к рукам прибрал, все под ним ходят, – закивал головой Григорий Аникитич, – мы вон с Яковым опробовали в захудалом местечке, что Тахчеи зовут по-ихнему, варницы поставить, так мужики наши едва ноги унесли.

– Так то Тахчеи, – постучал пальцем по столу Семен, – а попробуй дальше пойти. Чего и говорю.

– Все мы, Семушка, и без того понимаем, – помягчал вдруг Яков Аникитич, – не о том речь, чтоб на рожон лезть, голову под саблю Кучумову подставлять. Мы тебя и позвали, чтоб решить, где народ набрать воинский.

– Рать, что ли, собираетесь снаряжать?

– Думаем, у ногайцев сотен несколько испросить, чтоб повоевали Кучума, потеснили малость. Недорого и станет.

– Сколько? – напрямую спросил Семен, до которого наконец дошло, зачем братья пригласили его на разговор.

– Кто знает, сколько ихний хан запросит. Посылать гонцов будем. Так даешь свое согласие, али как?

– Он согласится... Дело наше общее, – попытался подбодрить младшего брата Григорий Аникитич.

– Не-е-е... С ногами связываться не стану. Они и деньги возьмут, и сами сбегут.

– Чего ж предложишь тогда? – мигом посуровел и насупил брови Яков Аникитич, а вслед за ним подобрался и средний Строганов, как бы с осуждением поглядывая на несговорчивого младшего. – У царя войско просить? Не даст. Думали о том. Там войне с немцами, шведами, ляхами и конца-краю не видать. Черемисы на Волге голову подняли, русских мужиков с деревень выгоняют, избы жгут. Опять же с Кучумом снюхались. Болтают, будто бы он к ним своих ратных людей послал, чтоб на Москву поднять. От царя помощи ждать не приходится. А вот не сегодня-завтра вогульцы попрут, а если еще и татары с ними сговорятся, то... – и он широко перекрестился, – несдобровать нам одним с мужиками нашенскими.

– С ногами дела иметь не буду, – упрямо отвечал Семен, – свет на них клином не сошелся. Копье, саблю не только они в руках держать умеют. Есть и получше.

– Это ты о ком? – враз спросили старшие братья.

– О ком, о ком, да о казаках! На Волге, на Дону вон сколько их обитается. Они и ногаев воюют, и с татарами поговорить смогут. Те их уважают...

– Да ты думаешь, что говоришь? – теперь Григорий не на шутку разгорячился. – То ж первые воры и разбойники. Супостаты! Ногайцы, те хоть деньги возьмут, а в городок не полезут. У них хан есть, его послушают. С ханом же мы завсегда договоримся. А с казака что взять? Он и деньги возьмет, и последние портки с тебя сымет...

– С тебя сымешь, – огрызнулся Семен.

– А дядя Семен верно говорит, – неожиданно подал голос Максим, смирно сидевший до этого и внимательно прислушивающийся к разговору, – мне и купцы сказывали, и несколько дозорных у нас службу несут из казаков. Они попало кого не грабят, чтоб без разбору. У них с басурманами свои счета...

– Тебя кто спросил? – Григория Аникитича будто кулаком в бок вдарили. – Советничек выискался! Молоко на губах не обсохло, а туда же! Пошел вон отсюда! Против отца голос подал! Покудова я живой – не бывать казакам у нас в городках, – брызгая слюной, прокричал вслед Максиму, который, не смея ослушаться, встал с лавки и понуро пошел к двери.

– Чего завелся? – фыркнул Семен. – Думаешь, не знаю, как твой обоз казаки пограбили? Вот ты с тех пор на них зло и держишь.

– А коль знаешь, то прикуси язык, прикуси, – Григорий Аникитич неожиданно побледнел и схватился за грудь, но потом справился с неожиданно накатившей болью и выпрямился.

– Вот и поговорили, – Семен встал, шагнул к двери, – поеду я, однако, а то темнеет рано. Надобно бы засветло добратся.

– Так чего решим? – привстал Яков Аникитич, и Семен, поглядев на него сверху вниз, отметил, как сдал тот за последний год, стал совсем седым, нездоровая желтизна выступила на лице.

«Лучше бы о себе подумал, а он все гребет да хапает... На тот свет с собой добро не потащишь...» Но вслух ответил:

– А ничего не решим. Вы за ногаев – нанимайте. А я согласия не даю. Прощевайте покудова, – и прошел мимо стоявшей в дверях Евфимии Федоровны, опустившей глаза вниз, поклонился ей и заспешил во двор, громыхая каблуками по высоким ступеням.

Возле крыльца стоял хмурый Максим. Остановился возле него, шмякнул ладошкой по плечу, подмигнул:

– Не бойсь, мы свое слово еще скажем. Поглядим, чья возьмет.

– К тебе на займку хочу, – тихо проговорил тот, – скучно мне здесь, со стариками.

– Приезжай, – просто ответил тот и вскочил на коня. – Буду ждать, – прокричал, обернувшись на скаку.

Блаженство ищущих

Ермак гнал от себя мысли о Евдокии, которая даже не попыталась объяснить причину своего отъезда. Да не просто отъезда, а, скорее, поспешного бегства. Чем он обидел ее? Почему не пожелала жить в казачьей станице, как другие женщины, сошедшиеся с казаками, живут и кажутся вполне довольными своим положением: хлопочут по дому, рожают детей, ждут своих мужей из походов. И нет таких, по крайней мере ему неизвестно, чтоб кто-то из них сбежал, кинув мужа.

Впрочем, случалось, что, пожив с одним мужиком или, чаще, не дождавшись мужа из похода, казачка находила себе другого и вместе со всеми пожитками перебиралась к нему в курень. Случалось, и дрались мужики из-за баб, но без оружия, на кулаках, метеля друг дружку, расквашивая в кровь лица, кроша зубы. Остальные не вмешивались, наблюдали со стороны. Потом, высказав все, что накипело, мирились, распивали кувшин, другой вина и расходились, не держа обиды.

Он догадывался, понимал, что послужило главной причиной бегства Евдокии и вдовицы Алены, – Богдан Барбоша. Несомненно, он смутил Дусю, наговорил ей что-то непристойное, домогался ее и, возможно, получил свое. Нет, об этом ему меньше всего хотелось думать, чтоб не пачкать ее имя грязными подозрениями.

Поначалу он хотел подойти к Барбоше, встретив его где-нибудь на майдане или у реки, схватить за горло и сжимать до тех пор, пока язык не вывалится из его похабного рта, не выскочат из орбит глаза, не обмякнет тело... Он знал, что способен на такое, и... боялся себя. Боялся не найти оправдания в глазах товарищей-казачков, относившихся к нему по-доброму, считавших своим, доверявших ему. И как он сможет убить одного из них? Как?! Волки в стае и то не загрызают собрата. Так может ли он, человек, лишить жизни такого же, как он?

А теперь после постыдного дележа добычи, полученной его отрядом после обмена угнанного табуна, с казаками Барбоши и Ваньки Кольцо... Ему стыдно было глядеть в глаза Ильину, Михайлову, Ясырю. Подай он тогда знак – и казаки воспротивились бы несправедливому дележу. И можно ли это назвать дележом? Скорее, грабеж. Нет, каждый казак по неписаному закону должен приносить на майдан часть добытого, делиться со всеми, чтоб удача не покидала его в дальнейшем. Но то делается по доброй воле, без принуждения. Таков закон.

А сейчас, уступив Барбоше почти половину, он выказал слабость, трусость. И мог ли теперь напасть на того, совершить задуманное ранее? Не мог... Уступив раз, ты обрекаешь себя на дальнейшее унижение.

Василий Ермак сидел в пустом курене, где, кроме оружия и пары горшков, ничего другого не было. Сидел, вырезая по давней привычке из куска дерева какую-то фигурку, сосредоточенно хмурия лоб, уйдя в себя, в занятие, горестно размышляя о неудачах, постоянно преследующих его. Не заметил, как открылась дверь и в курень вошли бочком Яков Михайлов и Гавриил Ильин. Сзади них кто-то еще шумно дышал, невидимый за спинами передних.

– Здорово, казаче, – улыбаясь, заговорил Яков, и по крепкому винному запаху Василий понял, что тот изрядно пьян, – решили заглянуть к тебе. Не ждал?

– Проходите, – безразлично отозвался Василий, – садитесь, где можете.

– Да мы не одни, – чуть качнувшись, проговорил Михайлов, перешагивая через ноги хозяина и ища место, где можно было бы присесть.

– Думаем, сидит наш атаман, и не с кем слова доброго сказать, перемолвиться, – зычно пробасил Гаврила Ильин и махнул в сторону стоявших сзади двух казаков, также едва державшихся на ногах, – вот, привели с собой Ваньку Кольцо да Микитку Пана. Не знаком?

– Как не знакомы, виделись. Меня всякая собака и на Дону, и на Волге знает, признает, – отозвался Иван Кольцо и плюхнулся на лавку.

– А меня Микитой звать, – хлопнул Василия по плечу приземистый, слегка округлый казак с выбивающимся из-под шапки чубом-оселедцем. Его мягкий говор выдавал уроженца запорожских или черкасских земель, а небольшие хитрые глазки, пытливо мерцающие из-под кустистых с рыже-медным отливом бровей, говорили о недюжинном уме и смекалке. Сам Никита Пан в движениях был проворен и точен. Достав из походной торбы глиняный кувшин с вином, поискал глазами, куда бы его поставить, сдвинул со стола неубранную посуду и аккуратно пристроил сосуд с драгоценным напитком с краю. – Говорили мне казаки про тебя, мол, хорошо к ногаям сбегали с тобой...

– Это точно, – замотал согласно головой Яков Михайлов, – знатный косяк угнали у косо-глазых и сбыли хорошо.

Василий ждал, что переведет разговор на дележ добычи с Богданом Барбошей, но Яков и не вспомнил об этом.

– Слышь, чего скажу, – стукнул он кулаком по столу, – скачем мы с ним, с Ермаком, по степи, табун впереди себя гоним, а у меня одна мысль в башке сидит...

– Признавайся, какая, – ехидно подмигнул всем Иван Кольцо, – поди, думал, как бы вместо кобылиц тех да баб табун гнать. Да? Долго бы ты его гнал, точно... – все дружно засмеялись, но Яков лишь отмахнулся от них и пьяно глянул на Никиту, сделал знак рукой в сторону глиняных кружек, мол, наливай, чего тянешь, и продолжал: – Мысля, значит, сидит такая: нагонят нас сейчас ногаи, зачнут сечь... А кругом степь, деваться некуда...

– Струсил, казачок, струсил, – ершисто подвел его Кольцо.

– А ты бы не струсил? – взъерепенился Яков. – Храбер тот бобер, что в хате сидит, на нас не глядит. Чего же с нами не пошел, коль удалец такой?! – закончил с вызовом. – Только и можете с Барбошей, что по Хопру, по Медведице шарить, ждать, когда какой купчишка заплутает. Тут вы молодцы против овцы, а супротив молодца и сам овца.

– Да, мы такие, – нимало не смущаясь, ответил Кольцо.

– Зря мы тогда вам половину свою уступили, – запоздало вздохнул Гаврила Ильин, – могли бы и не отдать.

– И не отдавали бы. Я б так нипочем не отдал, – похоже было, что Ивана Кольцо ничем не прошибить. Он лишь посмеивался и легко отшучивался.

– Ладно, чего собачиться, – стал раздавать кружки с вином Никита Пан. – Мы выпить пришли с хорошим человеком, а вы, словно бабы, лясы точите. Айда-ка выпьем за волю нашу, за Дон-батюшку, Волгу-матушку, что нас приютили, хлеб-прокорм дают...

– Не, не стану пить, – Кольцо поставил свою кружку на стол.

– Чего так? – удивился Никита, успевший уже отхлебнуть полкружки.

– За баб красивых выпью, а за всякие разности пить, что ты тут гуторишь, не стану. Кто желает за баб выпить, чтоб нас любили? – поднял свою кружку и обвел всех почти трезвым взглядом. И трудно было понять, шутит он или действительно у него на уме лишь бабы... Но все казаки подхватили кружки, дружно гаркнув:

– Айда за баб! Чтоб любили, тешили! – и мигом осушили кружки. Никита тем временем вытащил из торбы полкаравая ржаного хлеба, две сушеные желтоватые подсоленные рыбины, плюхнул их рядом с кувшином и, первым, отломив изрядный кусок хлебного мякиша, сунул в рот, принялся сосредоточенно чистить одну из рыб, протянув вторую Ермаку.

– Завсегда только за баб и пью, – пояснил меж тем Кольцо, отерев длинные усы двумя пальцами. – Не за царя же пить.

– Дурак ты, Ванька, – погрозил пальцем в его сторону захмелевший Яков Михайлов, – без царя бы и Руси не было. А не было бы Руси, так и нас, поди, не было бы. Турки, крымцы, ногаи, ляхи нас бы мигом полонили, в свою веру обратили.

– Вот ты дурак и есть, – беззлобно отозвался Кольцо, бесцеремонно отламывая рыбе брюшко прямо из рук Никиты Пана, который только проводил его взглядом, но ничего не

сказал и лишь чуть подвинулся в сторону, впился острыми зубами в рыбью спину. – Царь на что дан?

– Ты и скажи, на что царь дан, – все более распалялся Яков. Остальные не участвовали в споре, поглядывая на тех, ожидая, чем закончится дело. – Да на то он дан, чтоб нас в страхе держать, волю не давать. Ты вот зачем в казаки подался? Вольной жизни захотелось. Чего ж не жил под царем-батюшкой? Пахал бы себе землю, сеял хлебушек, детишек растил, жену на печке ублажал каждый день. Чего в степь подался?

– Э-э-э, не хитри, не крутись, братец, словно вошь на гребне. Тут все подобрались такие, кто работать не желает, а прокорм себе через саблю добывает. Или пан, или пропал. Так говорю? – повернулся к Никите, который уже умял рыбешку и разливал остатки вина по кружкам.

– Правду глаголешь, сын мой, – отозвался тот, – только вина мало.

Ермак, до сих пор молчавший и лишь поглядывающий то на одного, то на другого быстро хмелеющих казаков, откашлялся и подал голос:

– А я так скажу... Бывал я на службе царской и полевал с вами, под Астрахань ходил с Мишей Черкашениным, всего повидал. А вот по мне, царева служба сподручней выходит...

– Отчего так? – глаза Ивана Кольцо неподвижно и изучающе застыли на нем, словно открыл он что-то новое для себя. – Так отчего? – повторил настойчиво.

– А оттого, что там знаешь, за что служишь, – Ермак не отвел глаз и также изучающе разглядывал Кольцо. – Там тебя отправили, к примеру, на заставу или в крепость – и стоишь против врага. Знаешь, откуда он поперет, знаешь, как бить... А тут что выходит?

– Говори, говори, – невозмутимо подбодрил его Кольцо, – занятно гуторишь.

– Скажи им, скажи, – икнул опустивший кудлатую голову Гаврила Ильин, – пушай послушают.

– А тут выходит, что на кого наскочил, тот тебе и враг. Кого хочу, того и граблю. Вот угнали мы у ногаев коней, а хозяин тех пастухов на первой лесине повесит...

– И правильно делает, – зло засмеялся Иван Кольцо.

– Чего ты их жалеешь, Тимофеич? – не выдержал и Яков Михайлов. – Они ж ногаи. Хоть всех бы их перевешать... Нам-то что?

– Именно! Нам ничего. Худо грабить. Тьфу, – плюнул Ермак на глинобитный пол.

– А когда они в набег идут на нас? Тогда как, коль они всех мужиков режут, баб сильнее да в полон с детишками гонят. Их тебе не жалко?

– Не о том речь, – сопротивлялся Василий, но видел единство казаков. – Они нас зорят, а мы их. Чего тут доброго?

– Да тебе, Тимофеич, в попы пойти надобно, а не в казаки, – зло усмехнулся Иван Кольцо. – Мне мужики сказали, будто бы ты воин добрый, атаман удачливый, а ты ногаев жалеешь. Родичи, что ли, там объявились?

– Родичи не родичи, а знаю, что дурное дело творим.

– Ладно, ногаев более грабить не будем, – переменился вдруг Иван Кольцо и с обычной усмешкой продолжил, – тем более, сказывали, будто после вашего набега ушли они в степь подале и соваться к ним сейчас без толку. А на турка пойдешь?

– Отчего ж не пойти, – легко согласился Ермак. – Я и на ногаев пойду, коль надобно.

– Я же говорил, что добрый казак Тимофеевич наш, – сквозь зубы промычал, положив голову на стол, Яков Михайлов, – выпьем за его здоровье.

– Можно и за здоровье, да вина нет, – отозвался Никита Пан, – сейчас схожу до дружка своего. У того должно быть, – и, пошатываясь, с трудом направился к двери.

Иван Кольцо, проводив его взглядом, опять усмехнулся и неожиданно пересел поближе к Ермаку, положил руку ему на плечо.

– Слышь, Василь Тимофеевич, ты прости нас за тот раз...

– Чего? – удивился Василий. – За какой раз?

– Когда мы с Барбошей добычу вашу ополовинили. Не мы бы, так старшины, все одно, потребовали свою долю. А нам бы тогда шиш досталось. Барбоша же у них свой человек. Шепнул слово кому надо – и все тихо. Понял? Не журишь, панове. Да, еще, – вспомнил он, – от Урмагмет-мурзы люди по станицам ездили, выспрашивали, кто косяк у них угнал...

– И что? – напрягся всем телом Ермак.

– Да ничего, – успокаивающе махнул рукой Кольцо, – направили, заворотили их в другую сторону. Своих не выдаем. Только, думаю, все одно дознались они про тебя. Будь осторожней.

– Спасибо, – коротко отозвался Ермак.

– А насчет турок я ведь всерьез спросил, – казалось, что Кольцо и вовсе не пил, такими чистыми и незамутненными были его глаза. – Готовим поход на них. Пойдем стругами и верхами. Струги перетащим – и по воде дальше к морю. А по берегу конников для разведки пустим. Как ты? Думаем тебя в атаманы с верховыми вместе направить. За тем и пришли к тебе.

– Барбоша тоже идет? – испытующе глянул Ермак на Кольцо.

– Вон ты о чем, – громко засмеялся тот, – да нет его в станице. Недельку уж промышляет где-то. Только зря ты на него так. Казак он добрый, а испытать новичков любит. Ты ж на Дону всего ничего, а Богдан и родился, и вырос тут, свое прозвание получил...

Ермак молчал, сосредоточенно слушал Ивана Кольцо. Думал: казаки тем и хороши, что своих не выдадут, не бросят в беде, стоят крепко за каждого. Может, потому и сильны станицы казачьи, не суются к ним ни крымцы, ни ногаи. Вспомнились ему и молодые князья, с которыми нес сторожевую службу. С теми он так и не смог сдружиться, и хоть в бою слушали его, исполняли все, что приказывал, но видно было: не по нутру это князьям.

– Так ты даешь согласие, или как? – вновь подал голос Кольцо. – Казаки, что с тобой ходили в набег на ногаев, в один голос тебя требуют атаманом над дозорными ставить. Я же на стругах головным пойду. По рукам? – и протянул ему узкую ладонь с массивным золотым перстнем на среднем пальце, продолжая вглядываться все так же пытливо.

Ермак покосился на уснувших прямо за столом Якова и Гаврилу, протянул было Ивану ладонь, но в последний момент спросил:

– А что за дело? Кого воевать пойдем? Опять грабить, а потом улепетывать? Не по мне это...

– Тебе, так и быть, скажу, – Иван тоже глянул на спящих казаков, поднял пустую кружку, промолвил беззлобно: – Все выжрали! – подавил вздох и заговорил тихим голосом: – Тут такое дело... Прознали мы от верного человека, что идет большой турецкий караван из Бухары...

При этом слове Ермак вздрогнул и переспросил:

– Откуда, говоришь?

– Из Бухары, – Кольцо не придал значения его взволнованности, – купцы товары везут к туркам, а с ними еще знатные князья на поклонение к своим святым местам едут, где их пророк проживал...

– Мухаммед, – пояснил Ермак.

– Да какая разница, Мухаммед или иной кто? Вот мы и хотим двух зайцев за уши ухватить – караван пощупать и князей тех захомутать. Года два назад нескольких наших атаманов крымцы похватили спящими на переправе да и продали бухарским купцам, а те их в свои края увезли. Вот и думаем наших атаманов на тех князей поменять.

– Проще их в степи брать. Зачем струги?

– Проще-то проще, да, боюсь, умыкнут они к морю, сядут на суда, на каторги свои и поминай как звали. А мы тут как тут, на стругах и подопрем их у бережка. Так по рукам?

– По рукам, – и Ермак без раздумья вложил свою пятерню, накрыв ей сразу узкую кисть Ивана Кольцо.

– А вот и я... – просунул голову в дверь Никита Пан, втащил, тяжело отдуваясь, огромный кувшин и поставил его на стол меж казаками.

Выступили двумя отрядами уже в конце недели, потратив много времени на сборы: про- веряли струги, снасти, грузили провизию, не надеясь раздобыть что-то в пути. На стругах поме- стилось сотни две казаков под началом Ивана Кольцо. Есаулом к себе он взял Никиту Пана. С Ермаком конных казаков оказалось раза в два меньше, не более сотни. Там же были и Гришка Ясырь, Гаврила Ильин, Яков Михайлов и другие казаки, ходившие с ним в набег на ногаев. Своим есаулом Василий указал быть Михайлову, памятуя, что тот отличался от остальных и сметкою, и умением предугадать обстановку, выбрать удачное место для ночлега.

Казачки собрались на берегу провожать мужей и родных, стояли чуть в стороне, не мешая отплытию. Не было криков, плача, никто не бежал по берегу. Как бабы в русских деревнях провожают на заработки мужиков – без вздохов и вскриков, так и казачки, давно привыкшие к проводам и расставаниям, не рвали душу, не сушили себя потоками слез, не голосили с над- рывом, словно на похоронах.

Ермак, уже не раз наблюдавший казачьи проводы, по привычке к спокойствию и мужеству, с которым казачки оставались у околицы станицы или на берегу реки, не хватили мужей за стремена, не заламывали руки, не падали без чувств. Но когда первый раз сам, оставаясь в ста- нице, стоял среди пожилых казаков и наблюдал отбытие нескольких сотен в очередной поход, то показалось ему, будто едут те на праздник какой: столь веселы были все, не раздалось ни единого крика отчаянья. И сами казаки сыпали шутками, подмигивали женам, подругам, и те отвечали тем же. Только изредка вырывалось у кого-нибудь: «Григорий, береги себя, не балуй...», «Платочек мне присмотри там новый...» Словно мужики их отправлялись на базар за покупками, обещая через пару-тройку дней возвратиться обратно.

Евдокия так ни разу не нашла в себе сил выйти за околицу, чтоб, как все замужние бабы, проводить Василия, улыбнуться ему ласково на прощание, смотреть, как конники скроются за ближайшим курганом, и потом уже, вернувшись домой, терпеливо ждать и молиться за него. Нет, провожать выходила к воротам городка вдовица Алена, а Дуся оставалась, наревевшись накануне, в курене, хмурая, опухшая от слез, и тихо шептала вслед ему: «Василий, останься...» Но как он мог остаться? Или он не сам выбрал удел казака, чем-то напоминающий его прежнюю жизнь? Или он перестал быть воином и его не уважают другие казаки, не надеются на него, не верят ему?

Нет, между женской привязанностью и мужской дружбой он выбрал последнее. Верно, это прежде всего и подтолкнуло Евдокию покинуть станицу, уехать обратно на Русь, где, воз- можно, она и найдет себе мужа, который утром будет уезжать в поле, а вечером усталый воз- вращаться домой. Они обвенчаются в храме, нарожают детей и... будут счастливы. При этих мыслях у Василия что-то сжималось внутри, кровь бурлила, прилиwała к голове и хотелось рвануть коня под уздцы, поскакать прямо сейчас вслед за женщинами, догнать их, удержать, остановить. Но нужен ли он им такой? Если Дуся не смогла привыкнуть к его постоянным отлучкам, походам, то и ему не привыкнуть к обыденной тихой деревенской жизни, не стать крестьянином... Значит... Значит, не судьба... И ему не иметь детей, которыми он смог бы гордиться, садить в седло, учить обращаться с оружием, нападать в бою, уходить от погони.

Еще тоскливее стало у Василия от этих горестных мыслей и вспомнилась едва ли не единственная любовь его – Зайла-Сузге, родившая ему сына. Где-то они сейчас? Живы ли? Сейдяк наверняка уже вырос, стал воином и ходит в набеги, водит сотни.

Он многое бы дал, чтоб получить хотя бы малую весточку от Зайлы-Сузге, поглядеть хотя бы издали на сына, чем-то помочь ему. Но чем больше он думал о том, чем больше распа- лялся, тем тягостнее становилось на душе, и хотелось закричать, завывать волком, быстрее уви- деть врага, схватиться с ним, располовинить одним ударом сабли любого, кто встанет у него на пути. Любого...

– Атаман, чего невеселый такой? – услышал словно издалека доносившийся голос и, повернув голову, увидел, что его нагоняет на взмыленном коне Гришка Ясырь, а он сам далеко оторвался от остального отряда и мчится галопом, постоянно прищипывая коня, охаживая нагайкой и не замечая этого. – Мы подумали, увидел чего, коль вперед поскакал. Едва нагнал тебя... Пряткий конек...

– Да, – кивнул головой Ермак, – показалось чего-то впереди.

– А я так ничего не вижу, – отвечал удивленно Григорий, привстав на стремянах, вглядываясь в степь.

– Показалось, видать... Давай подождем остальных, – придержал коня Ермак, придиричливо оглядывая приданный ему отряд.

Казаки шли рассыпанным строем, закрепив у стремян длинные пики, надвинув на глаза мохнатые бараньи шапки с красным верхом. Почти у каждого под кафтаном была надета кольчуга, у седла подвязан остроконечный шлем. Многие имели пищали, пистолы, но лишь изредка можно было заметить круглые щиты, которых казаки не любили, считая, что он лишь мешает, отягощает, а от ружейной пули и вовсе не защитит. Кроме сабли у многих болтался притороченный к поясу топор-секира на длинной рукояти, которым казаки пользовались, если под ними убивали коня и они оказывались пешими против конника. Одним ударом своей секиры умелый боец раскраивал череп лошади, а потом уже управлялся с всадником. И короткий лук имел едва ли не каждый казак, даже если у него и были пищаль или пистоль. В сырую погоду фитиль плохо горел, и тогда выручал лук, владели им казаки в совершенстве, попадая в цель на полном скаку, ничуть не хуже крымчаков или ногайцев.

Ермак, привыкший к луку более тяжелому, изготовил его себе сам и стрелы подобрал подлиннее, выковал к ним наконечники с зазубринами на острие, оперил и, проверив, остался доволен – стрела летела на сто шагов, точно впиваясь в цель.

Дождавшись подхода сотни, не спешившей с рыси переходить на галоп (все одно струги шли медленнее), Ермак влился в общую массу, приглядываясь изучающе к лицам казаков. Некоторых он видел впервые или просто не запомнил, не отличил. Большинство же были так или иначе знакомы, обменивались с ним понимающими взглядами, проезжали мимо, покачиваясь в седлах, бросая малозначимые слова, отхаркиваясь от прилипчивой пыли. Двое казаков приотстали, и Ермак придержал коня, поджидая их.

– Чего тянемся? Пристали, что ли? – спросил нарочно грубо.

– Гуторим едем... А куда спешить? – развязно ответил гнусавый казак с приплюснутым к верхней губе широким носом и отвисшей, чуть оттопыренной нижней губой, которого в станице прозвали Брызгой за ворчливость и несговорчивость.

– А коль наскочит кто? Назад подадитесь?

– Мы сроду из боя не бегали, – обиделся второй, по прозвищу Ларька Сысоев.

Ермак не стал препираться с ними, а, дав шпоры коню, поскакал догонять ушедших вперед казаков, не оглядываясь: знал, что те двое подтянутся, подберутся, чтоб не попасться второй раз на глаза походному атаману. Прослыть трусом мало кому хотелось. Засмеют, бабы начнут пальцами тыкать.

К вечеру, так никого и не встретив в степи, повернули к реке и, став лагерем, ждали подхода стругов. Те появились уже далеко за полночь, ткнулись носами в песчаную отмель. Казаки, тяжело отдуваясь, вываливались на берег, чертыхаясь и костеря конный отряд, что те дали лишку, уйдя далеко вперед, а могли бы разбить лагерь и чуть пораньше. Казаки из Ермаковой сотни спустились к воде, помогли вытащить суда на берег, посмеивались над гребцами, звали к кострам перекусить.

– Никого не встретили? – спросил Кольцо, подходя к Ермаку.

Тот лишь покачал головой, повел его к своему костру, где кашеварил Гаврила Ильин еще с двумя казаками.

– Хотел дозоры отправить, да все одно пусто кругом... – пояснил Ермак. – Верно, завтра к вечеру и вышлю с десятков охотников.

– Бог даст, так завтра и до переволока дойдем, – согласился Кольцо, – а там глаза да ушки держи на макушке. Как на Волгу переправимся, то места там пойдут опасные – и ногаи, и крымцы летают. Держитесь кучней, от нас далеко не отходите.

Кольцо хоть и был в походе первым атаманом, но с Ермаком держался на равных, говорил спокойно, сдержанно. Серебряная серьга в левом ухе поблескивала при свете костра, и сам он, ловкий, увертливый, собранный, с цепкими, внимательными, чуть насмешливыми глазами, нравился Ермаку. Было в нем что-то надежное, придающее уверенность, и в то же время в любой момент он мог взорваться, кинуться на обидчика.

К костру подошел Никита Пан и вынул из-за спины небольшую баклажку, потряхнув в руке и озорно улыбнувшись, спросил:

– Трошки выпьем? Как ты, атаман? – обращаясь главным образом к Ивану Кольцо.

– Убери. И чтоб больше не видел, – не поднимая головы, ответил тот. – Не погляжу, что друг, заверну в станицу, только запах учую.

– Да ты шо, батько? – изображая смущение, запричитал тот, пряча баклажку обратно за спину. – Да с устатку чего же не выпить? А? – и вопросительно глянул на Ермака. – Скажи ты ему, Василий...

– Я сказал, ты слышал, – принимаясь за еду, все так же тихо, но отчетливо выговаривая слова, отозвался Кольцо. Никита крикнул и, бросив баклажку на землю, уселся рядом, потянулся к вареву.

– Так всегда и поступают товарищи: он на корме сидел весь день, кормовым веслом управлял, а мы гребли, как проклятые. Словно нанялись... – беззлобно балагурил Никита, отправляя в рот ложку за ложкой. Остальные казаки с усмешкой поглядывали на него, не вступая в разговор.

– А хошь, Микита, я тебя к себе сзади на мерина посажу? – предложил со смехом Гаврила Ильин. – И грести не треба, и нам веселей будет. Мерин мой здоровущий, выдержит двоих. Пойдешь?

– Ага, – добродушно согласился Никита Пан, – согласен, согласен. Особливо когда татарва наскочит или ногаи. Ты рубиться станешь, а я тобой командовать буду, кого первым рубить, кого вторым.

– Не... так не пойдет, – под дружный хохот замотал головой Гаврила, – ты оборону сзади держи. Вдвоем нас никто не одолеет, ни с какой стороны не возьмет.

– Ты лучше Богданку Брызгу возьми, – не отрываясь от еды, возразил Никита, – он от любого врага отбрехается. И сабли не надо. У него язык так подвешен, что побрить может запросто, – кивнул в сторону сидевшего у соседнего костра Брызги. Тот не расслышал, о чем идет речь, но догадался по хохоту, что Никита помянул его, и ответил:

– Слушайте, слушайте его, пустобреха. Он вам наметет с три короба, и еще столько же останется.

– Богдаша, меняемся ложками, – громко крикнул Никита, – ты, говорят, свою заместо палицы возишь. Как шлепнешь кого по лбу, тот и с копыт долой. Меняемся?

Все знали, что Богдан Брызга и впрямь имел ложку размером чуть меньше половника, которым кашевары мешают в котлах. Он, несмотря на свой небольшой рост, выхлебывал уху или похлебку в два раза быстрее остальных казаков, за что те постоянно и насмехались, подтрунивали над ним. Но он отвечал обычно:

– Кто в еде скор, тот и в работе спор. Меня не трожь, и я не трону. А казаку без прибавки никак нельзя. На пустое брюхо не повоюешь.

– Чего, Богдаша, не хочешь меняться? Гляди, передумаю...

– Как же он без своего черпака, – подхватили другие казаки, – помрет еще с голодухи.

Кольцо, успевший перекусить, встал и, наскоро перекрестившись, отозвал Ермака к берегу. Спустились к самой кромке воды, присели на борта стругов, прислушиваясь к тихому плеску воды, к голосам казаков, едва долетавшим сюда.

– Думается мне, если кто из степи нас заметил, то обязательно на переволоке караулить станут, – проговорил вполголоса Кольцо.

– Могут, – ответил так же негромко Ермак, – беречься будем.

– Ты дозоры отправь затемно, чтоб разведали, что к чему, – посоветовал Кольцо, – бывал раньше на волоке?

– Разок пришлось...

– Отправь кого знающего. Брызгу того же. Он хоть и занудистый мужик, но глазастый. Его не обдурить. Нутром ногойцев чует.

– Пошлю, коль сам захочет.

– Только предложи, а уговаривать не придется. Пойдет первым.

Условились о месте встречи, где Ермак будет ждать струги с казаками, и разошлись спать. Ермак еще раз подивился обстоятельности, с которой Кольцо руководил походом. Он не шел, как другие атаманы, очертя голову, напролом, а заранее продумывал каждый шаг. Дай-то Бог, чтоб все сложилось удачно, без особых неожиданностей!

Богдан Брызга тут же согласился ехать вперед дозорным, но для вида проворчал:

– Как дело важное, так сразу меня. Знают, что лучше Богдана никто не исполнит. Без Богдана ни шагу... – и, продолжая бормотать себе под нос, пошел собирать охотников.

Верховая сотня шла почти подле самого берега реки, отходя в сторону лишь в поисках переправы через небольшие речушки. К вечеру вышли к месту, где казаки обычно по суше перетаскивали свои суда. Но отряда Брызги там не оказалось. Спешились и, ослабив подпруги, решили чуть подождать. Не объявились они и позже, когда струги Ивана Кольцо тяжело причалили к месту стоянки. Обеспокоенные долгим отсутствием сторожевого отряда, костров не разводили, вслушивались в ночной сумрак. Уже ранним утром послышался конский топот и первым подскакал Богдан Брызга на загнанном кауром коньке, а вскоре еще пятеро из его отряда, понурые и уставшие, подъехали к месту сбора.

– Где остальные? – глянул Кольцо на Брызгу, что более обычного оттопыривал нижнюю губу, смотрел вбок, отводя глаза от атамана.

– На ногоев наскочили, – словно нехотя, наконец ответил тот, сойдя на землю, – откуда они взялись... Не пойму...

– Ну, и... Да не тани кота за хвост! – вспыхнул Кольцо. – Поубивали, что ли, всех?

– Да нет. Раненые есть, но ушли мы от них. Коней загнали. Вот двоих и посадили задними на коней, поотстали. Скоро будут, – махнул в сторону степи Брызга.

– Мать твою так! – выругался Кольцо. – Где же твои глаза были? Куда смотрел? Тебя зачем отправили?

– Да их полсотни из балки выскочило! – видать, Брызга пришел в себя и принялся оправдываться, как они наскочили на засаду, как едва ушли от них. Кольцо не стал слушать, пошел к стругам. Ермак, не обронивший ни слова, с жалостью смотрел на сникшую фигуру Брызги, который виновато поглядывал на казаков, не ерепенился как обычно. «Нутром ногоев чует...» – вспомнились слова Ивана Кольцо.

Когда совсем рассвело, подъехали на едва живых лошадях сидевшие парами остальные четверо казаков. Их отправили отдыхать, а весь отряд стал готовить суда к волоку. Ермак отправил новый разъезд подальше в степь, наказав, чтоб в бой не ввязывались, а упредили остальных в случае нападения ногоев.

Но день прошел спокойно. Струги разгружали, складывали запас продовольствия на лошадей, увозили, возвращались за новым. А тем временем остальные казаки, накинув на плечи лямки, пристегнув к стругам по паре коней, вытаскивали суда из воды на берег и нето-

ропливо тянули волоком к Волге, делая короткие остановки для отдыха. Хоть стругов было и немного, но за день не управились. Уже к полудню выдохлись и казаки, и кони. Закончили перетаскивать струги лишь к вечеру следующего дня.

Чуть в стороне от волока Ермак заметил кучи земли, следы кострищ и кивнул в ту сторону, указал находившемуся с ним в одной пристежке Якову Михайлову:

– Вот здесь я свое прозвание и получил...

Яков поднял голову вверх, отер пот со лба и переспросил:

– Какое прозвание?

– А ты не знаешь? Турки тут канал рыли, «ермак» по-ихнему. Я в то время в полоне был, вот и помахал лопатой, погорбатился на них. Казаки Миши Черкашенина нас и отбили.

– А... вон оно что... Слышал про Мишу, слышал. Кто его на Дону не знает. Как в полон-то попал, атаман?

– Долго рассказывать, – отмахнулся Ермак.

– Я все тебя спросить хочу, – не успокоился Яков, – ты сам из каких будешь?

Ермаку явно не хотелось говорить об этом, ворошить старое, что пытался забыть, вытравить из души. Но сейчас, когда все казаки дружно впряглись в лямки и тащили по твердой, словно камень, земле струги, и единение исходило от казачьей ватаги, просто невозможно было утаивать что-то... И, осторожно подбирая слова, Ермак ответил:

– Про Сибирь слышал? Вот из нее самой я и пришел на Дон.

– Ого, занесло тебя, однако... – удивленно глянул на него Яков. – Чего там не ложилось? Говорят, будто бы у вас соболей, что в степи сусликов – на каждой ветке сидят, хоть палкой сшибай.

Ермак засмеялся, представив, как Яков с толстой палкой гоняется за забравшимся на ель сободем.

– Суслика и того палкой не добудешь, а соболя и подавно. Он знаешь какой хитрый... На него особая сметка нужна.

– А ты Расскажи, – не унимался любознательный Яков.

– Расскажу когда-нибудь, – согласился Ермак, налегая на лямку.

Когда уже спустили все струги на воду и начали загружать их, со стороны степи показался всадник, изо всех сил нахлестывающий коня.

– Да то фомка Бородин поспешает, – узнал его кто-то из казаков, – не иначе случилось чего... Вишь, как наяривает!

Ермак и Кольцо подались вперед, дождались, когда Бородин подъедет вплотную, и сразу все поняли по его вытаращенным глазам.

– Ногаи, – прохрипел он, поводя языком по растресканным от жары губам, – пить дайте.

– Много их? Откуда взялись?

– Верно, те, что на казаков Богдана Брязги напали. Следили за вами, а напасть не решились. Мы их пужнуть решили, думали, чуть их будет. А их более полусотни оказалось. Двое, видать, за подмогой поскакали.

– Ну и вы чего? Драпанули? – нетерпеливо спросил Кольцо.

– Зачем ты так, атаман? – обиделся Бородин. – Биться начали. Те и откатились сразу же. Но, думаю, неспроста. Своих ждут. Меня и отправили вас упредить...

Ермак и Кольцо переглянулись и без слов поняли друг друга.

– Подниму своих, – проговорил Ермак, направляясь к коню, – надо отогнать их подале в степь. Вы пока погрузку без нас заканчивайте, будьте наготове. Чуть чего, так мы их к берегу выманим под ваши ружья.

– Годится, – согласился Кольцо, – с Богом, казачки...

Ермак построил своих конников в два ряда и дал знак трогаться, выехал чуть вперед, на ходу подсыпал порох на полку пищали, проверил огниво, фитиль. Заметил, что и другие казаки

тоже готовят свои ружья. Не слышно было разговоров, смешков. Все подобралось, изготовились к схватке. Дружно пошли ходкой рысью, привстав на стременах, тянули шеи, всматривались вперед. Скакали недолго, увидев своих казаков, судя по выступающей на одежде крови, раненных в недавнем бою.

– Куда тебя, Клим? Шибко больно? Езжайте к нашим на струги, там перевяжут, – слышались голоса.

– Стрелой зацепило, – отвечал казак, у которого правое плечо было обмотано тряпичей, уже порывшей от сочившейся крови, – боя они не приняли, в степь ушли. А мы за ними погнались, а они стрелами и достали нас троих... – словно оправдывался тот. – Эка недокука – кровь унять не могу...

Но казаки уже проехали мимо раненых и теперь шли по следам, горячили коней, желая быстрее настичь ногайцев, схватиться с ними. Наконец, увидели группу своих казаков, что неторопливо разъезжали вдоль большой балки. На другой стороне ее столпилось более сотни ногаев. Все они были одеты в одинаково стеганные халаты, на головах войлочные полукруглые шапки, перед собой держали натянутые луки.

Ермак сразу понял, что ногайцы не дают казакам перебраться через балку, осыпая их стрелами, неторопливо отстегнул от седла шлем, надел его, проверяя, надежно ли сидит. К нему подъехал Дружина Васильев, посланный старшим над караульным отрядом.

– Держат нас, сволочи, на этой стороне, – закричал он еще издали, – не дают перебраться.

– Сам вижу, – остановил его Ермак, – правильно делают. А ты бы на их месте что делал? Вот-вот, то же самое бы и делал.

Васильев глянул на атамана и, ничего не сказав, повернул коня, поскакал к своим.

Ермак кликнул Михайлова, Ильина, Гришку Ясыря и, указав на небольшую ложбинку, что вела в глубь оврага, спросил:

– Можете подобрать десятка полтора добрых стрелков, чтоб перебрались пешими через эту балку и снизу ударили по ногаям?

– Отчего ж нельзя... Это можно... Только они нас того, стрелами не уложат? – высказали опасение.

– Крадитесь незаметно, а мы их тут отвлечем на себя.

– Понятно, – проговорили те и вернулись к своим, поснимали с седел пищали, начали собирать еще охотников.

За дальнейшее Ермак был спокоен. Подъехал к самому краю глубокой балки и, подняв вверх пику, громко крикнул:

– Эй! Батыры среди вас есть? Или все трусливые, как зайцы? Вызываю любого на поединок, – и снова потряс длинной пикой.

Ногаи, может, и не расслышали его слова, но по знакам поняли – вызов. Из толпы выехал громадный детина в блестящих доспехах и шлеме с орлиными перьями на шишаке. «Не иначе как юзбаша, – подумал Ермак, – тем лучше...» Ногаец несколько раз подбросил в воздух свое копьё и выкрикнул что-то, но ветер тут же отнес слова в сторону. И без слов было ясно, что он решился принять вызов.

Ермак отдал Дружине Васильеву свою пищаль, чтоб оказаться на равных с ногайцем, шепнув тихо:

– Если что, командуй сотней. С тобой чего случится – пусть Яков Михайлов на себя атаманство берет. Понял? – Васильев согласно кивнул головой, хотел что-то сказать, но передумал и положил пищаль атамана поперек седла.

Ермак выбрал удобное место для спуска и направил коня туда. Ногаи с любопытством смотрели на него сверху, не стреляли. Так же беспрепятственно он выбрался наверх и успел заметить, что группа казаков с пищальями в руках начала осторожно спускаться на дно балки. Ногаи же, чье внимание целиком было приковано к смельчаку, вызвавшемуся сразиться с их

богатырем, не обращали на казаков никакого внимания. И Ермак подумал, что его план должен удасться, если... если он совладеет с могучим ногойцем, горячившим коня, разгоняя его, подбрасывая вверх и ловко ловя свое копьё, на конце которого развевался короткий пучок конских волос.

– Урус будет биться с нашим Муран-батыром, – галдели радостно ногойцы, – пусть урус молится о легкой смерти. Никто не может одолеть нашего батыра! – улюлюкали они.

Ермак находился от них на расстоянии не более десятка шагов и, дернув коня за повод, сделав большой полукруг, остановился, выбрав место так, чтоб солнце находилось у него за спиной и слепило ногойского богатыря. Тот, верно, понял хитрость, но лишь усмехнулся, сморщив широкое лицо. Правой рукой он поигрывал копьём, а в левой держал большой круглый щит. Ермак пожалел, что ему нечем будет защищаться, но, внимательно присмотревшись к противнику, решил, что, может быть, отсутствие щита только сыграет ему на руку. Муран-батыр был в полтора раза шире его, он прочно сидел на лошади, такой же крупной и тяжело-весной, под стать своему хозяину. На этом-то и решил сыграть Ермак, встав от ногойца не более чем в полусотне шагов. На таком расстоянии тому не успеть разогнать своего тяжеловеса, зато его конь, легкий и подвижный, вполне наберет нужную скорость.

Понял это и ногоец, заставив коня чуть отступить назад, и, подняв щит, ударил по нему тупым концом копьё, погнав на Ермака, направляя копьё прямо ему в грудь. И Ермак, дав коню шпоры, пригнулся низко к седлу, впившись взглядом в копьё противника. Когда меж ними осталось не более пяти шагов, он резко пригнулся, нырнув под копьё ногойца, а сам снизу ударил его, целя в открытое пространство под щитом. Но его прием удался лишь наполовину: копьё ногойца просвистело над ним, пронзив пустоту, он же попал в низ щита, и Муран-батыр легко отбил удар.

Ногойцы одобрительно загалдели, поняв, что их богатырю достался достойный противник. Казаки же, собравшиеся на противоположной стороне балки, настороженно молчали, не веря, что их атаману удастся справиться с таким детиной.

Противники вновь разъехались. Неожиданно Ермак перекинул копьё в левую руку, поскакал, забирая вправо, выходя на ногойца левым боком. Тот от неожиданности растерялся и, пока менял руку, замешкался, не успел прикрыться щитом, и Ермак на полном скаку промчался мимо него, точно ударив в открытую грудь. Ногоец тяжело свалился на землю, выронив щит, сломав при падении копьё. Пока Ермак разворачивал коня, он успел подняться и, прихрамывая, побежал к своим. Ермак настиг его, зажав правой рукой топор, и с маху рубанул по блестящему шлему чуть наискось. Шлем соскочил с головы, покатился по земле. Муран-батыр упал на колени, вытянув вперед руки, словно хотел дотянуться до шлема, кровь брызнула на кольчугу. В это время ударил залп из ружей. Казаки во главе с Яковым Михайловым, дождавшиеся окончания боя и затаившиеся на склоне балки, смели передние ряды ногоев. Среди тех началась паника, все смешались, кинулись врассыпную, не успев даже подобрать своего юзбашу Муран-батыра.

Остальные казаки торопливо перебирались в устье балки на другую сторону и, выхватив сабли, погнали противника дальше в степь, не давая опомниться.

– Все... Больше не сунутся, – проговорил Дружина Васильев, подъезжая к Ермаку, следившему за боем, который и боем-то назвать было нельзя, а скорее – поспешным бегством ногойцев.

– Да, они пятеро на одного любят, – выпячивая по привычке нижнюю губу, проворчал Богдан Брязга, подъезжая к ним с окровавленной саблей в руках, – а когда поровну, то бегут, словно угорелые.

– Давно ли сам убегал, – усмехнулся Ермак.

– Да... побежишь тут, когда их вон сколь было, а нас... – попытался оправдаться Богдан, но атаман уже не слушал его, а смотрел, нет ли убитых или раненых среди казаков. Вроде все были целы, и он скомандовал возвращаться обратно к стругам.

– Силен ты, однако, на копьях биться, – уважительно проговорил Яков Михайлов, нагнавший его уже возле берега, – не хотел бы я с тобой в чистом поле встретиться.

– А кто заставляет? – засмеялся тот добродушно, потряхивая курчавой черной бородой, в которой появились первые блески седины. – Поди из одного котла кашу хлебам...

Иван Кольцо нетерпеливо расхаживал вдоль кромки воды, оставляя четкую цепочку следов на желтом песке. Остальные казаки сидели у бортов, выставив дула пищалей, у каждого в руке тлел фитиль, и общее напряжение висело в воздухе. Когда же возбужденные конники рассказали второпях, как они навалились на ногайцев, как те бежали, как атаман завалил здоровяка-ногайца, все заулыбались, прыгнули на песок, обступили Ермака. Кольцо, узнав о победе, удовлетворенно хмыкнул и велел отчаливать.

– Нам еще ходу да ходу, – ворчливо косился на шумевших казаков, – а вы тут как вороны на дубу разгалделись. Отправляемся!

Ермак с конной сотней поскакал дальше вдоль берега, поднимаясь по высокому косогору, откуда хорошо были видны плывущие вниз, словно большие серые рыбы, суда и взблескивали при каждом взмахе тяжелые весла, дружно поднимающиеся и опускающиеся в воду, и фигурки казаков, отклоняющихся резко назад, а затем подтягивающихся вперед, казалось, кланяющихся высокому синему небу и золотому шару солнца, застывшему над головами.

Еще день ушел у них на переправу через Волгу. Казаки пересели в струги, а лошади плыли вслед за ними, испуганно вращая глазами. Но наконец-то они оказались на левом берегу и выслали вновь дозор, который должен был уйти в степи на несколько дней, пока не обнаружит тот самый караван с купцами и паломниками, идущий из далекой Бухары. На сей раз Ермак пошел во главе дозорного отряда, оставив за себя есаула Якова Михайлова.

* * *

...Караван, с которым отправились Сейдяк и трое сыновей хана Амара, шел по безлюдным пескам уже более месяца. Вел его опытный караван-баша, знающий дорогу, как узоры на своем халате. Ему были известны все колодцы и караван-сарай, где можно утолить жажду, наполнить бурдюки водой, остановиться на ночлег. Два раза на них нападали в песках Кара-Кума разбойничьи шайки. Но воины охраны удачно отбивались от них, гнали в пески. Купцы и паломники в это время, сбившись в кучу, с ужасом ожидали, чем закончится бой, прятали поглубже в песок драгоценности. Но когда воины возвращались и объявляли, что путь свободен, тут же драгоценности выкапывались, и караван двигался дальше.

Однажды утром караван-баша, глядя на большую стаю белых птиц, объявил, что скоро они должны подъехать к реке, что зовут Волгой, а значит, вот-вот и конец пути, конец разбойным нападениям. Там они повернут вдоль побережья моря, где, как пояснил караван-баша, опасаться им нечего.

За время пути Сейдяк более всего сдружился с младшим из братьев, Сафаром, улыбчивым и приветливым юношей. Тот неплохо был образован, хорошо знал коран, и во время путешествия юноши вели долгие беседы, иногда даже спорили. Сакрай и Гумер, наблюдая за ними со стороны, посмеивались. Сакрай считал, что мужчине совсем не нужно учиться чему бы то ни было, кроме военного дела; Гумер, который во всем слушался старшего брата, соглашался с ним. Сафар, видя их кривые усмешки, горячился, доказывал, что только забитый раб не знает письменности, ведь в книгах написано очень много полезного, тем самым только еще больше дразнил старших братьев.

– Чего же ты разбойникам не разъяснил по своим книгам, как они плохо поступают? – спрашивал высокомерно Сакрай. – Они бы, глядишь, и послушались тебя.

– Я читал, что среди разбойников встречаются образованные люди, а некоторые были даже благородного происхождения, – отвечал Сафар.

– А вот я не видел среди этих оборванцев ни одной приличной рожи, – вторил старшему брату Гумер, – если бы они были образованными людьми, то пошли бы служить к нашему хану, а не рыскали по пескам.

– Что вы зря спорите? – пытался помирить их Сейдяк. – Каждый волен думать, как он считает нужным.

Старшие братья побаивались Сейдяка, который был на полголовы выше их и к тому же очень силен и ловок, а потому не задирала его. Но когда оставались вдвоем, уезжая далеко вперед от каравана, то не стеснялись в выражениях, называя Сейдяка безродным подкидышем. Амар-хан не считал нужным рассказать им о происхождении сына Зайлы-Сузге, а потому Гумер и Сакрай были о нем невысокого мнения.

И сегодня они ехали, как всегда, впереди каравана, не сразу заметив, как из небольшого леска показались вооруженные всадники. Вначале они приняли их за разбойников, что охотятся за одинокими купцами, а при виде настоящего воина пускаются в бегство. Но, приглядевшись, рассмотрели длинные пики с флажками на концах, шлемы на головах всадников и даже различили ружья у седел. Не раздумывая, они развернули коней. Сакрай и Гумер нахлестывали скакунов, но не могли оторваться от преследователей. Оглядываясь на скаку, они различали их лица и начали догадываться, что наскочили на один из казачьих разъездов, что, по словам опытного караван-баши, изредка появляются в этих местах.

Наконец показался их караван. Там заметили погоню – и двадцать всадников охраны кинулись им на выручку.

Один за другим ударили несколько выстрелов. То казаки разрядили свои пищали. Захрипели смертельно раненные кони, повалились на землю воины охраны, заметались, сбившись в кучу, купцы и паломники. Сейдяк, видевший все это, кивнул другу и, вытащив из ножен саблю, кинулся на помощь остальным. Сафар скакал, чуть отстав, мигом забыв о спорах с братьями, и лишь одна мысль была сейчас у него в голове: «Только бы они остались живы...» О себе он как-то и не думал, не веря в смерть, не ожидая ее.

Казаки Ермака, неожиданно наткнувшись на двух воинов в цветастых бухарских халатах, не ожидали так быстро обнаружить караван, который разыскивали уже пятые сутки, разбившись на мелкие отряды. С Ермаком было два десятка человек, и он прикинул, что воинов, охраняющих караван, было ровно столько же. Поэтому, не раздумывая, кинулся в атаку, не дожидаясь подхода основных сил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.